

АЛЕКСАНДР КОВАЛЬСКИЙ

Райгард

УЖ И КОРОНА



Александр Ковальский
Райгард. Уж и корона

«Издательские решения»

Ковальский А.

Райгард. Уж и корона / А. Ковальский — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-858417-6

...Далеко-далеко, на самом краю земли, там, где море Дзинтарис лижет серыми волнами плотный белый песок, стоит янтарный замок, и девочка с зелеными глазами сидит на пороге — ждет свою судьбу. Пересыпает в руках янтари. Эгле, королева ужей. Так могла бы выглядеть сказка, но события происходят здесь и сейчас. В основу положена сказка об Эгле, королеве ужей, много белорусской мистики и совсем немного истории.

ISBN 978-5-44-858417-6

© Ковальский А.
© Издательские решения

Содержание

Пролог	6
Путешествие королевы	8
Глава 1	8
Глава 2	15
Глава 3	31
Глава 4	41
Глава 5	56
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Райгард Уж и корона

Александр Ковальский

Иллюстратор Анна Калинкина

© Александр Ковальский, 2017

© Анна Калинкина, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4485-8417-6

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Пролог

Солнце садилось за край болота, и облака на закате были розовы. Мокрый свет сочился сквозь туман – густой и струящийся пластами. У самой земли туман был окрашен голубым, но, поднимаясь к небу, становился молочно-белым. А восток уже был залит синью, и почти у самого небокрая, острая и влажная, повисла звезда.

Болото длилось на множество стай, сколько хватало глазу. Неожиданно открывались среди осокоря черные, подернутые ряской оконца трясины, низкорослые кривые березы тянули к небу голые ветки.

Кончался апрель, и в лесу лопались почки, бесшумно выпуская из коричнево-красных чешуек новорожденные клейкие листья. И деревья стояли будто окутанные зеленым дымом. В сумерках рассыпанные в траве цветки мать-и-мачехи казались похожими на бесчисленные свечные огни. Словно все перепуталось, август заступил место апреля, и не лиловые в полутьме фиалки, а вереск цвел под соснами на горячих от солнца взгорках.

Человек сидел на земле, положив руки на согнутые колени. Он был один посреди болота и никуда не торопился. Точно собирался просидеть вот так до утра. И его не беспокоило, что земля еще слишком холодна, чтобы обходиться ночью без костра, и что плащ из плотного синего сукна не защитит ни от вечернего холода, ни от утреннего тумана.

Он сидел на земле, обратив лицо к востоку, и не отрываясь, смотрел на звезду – как медленно она поднимается над небокраем. И когда ее свет сделался нестерпимо ярким, человек отвел глаза и протянул к земле руки.

Он сидел и ждал; руки, протянутые над тонкими ниточками мха, вздрагивали от напряжения. И вот стебли травы раздвинулись, и оттуда, приподняв узкие головы с золотыми пятнами над бровями, показались ужи. Их было бесчисленное множество – старых, толщиной в руку, ленивых и похожих на медленные лесные потоки, и молодых и нетерпеливых.

Они текли, как ручьи по весне, и казалось, что вся земля превратилась в колышущееся черно-золотое море. Трава пригибалась под быстрыми телами и тут же распрямлялась вновь. И свет звезды дробился на чешуйчатых узких спинах.

Человек шевельнулся, и сейчас же старый уж обвился вокруг его запястья и всполз по руке, положив голову на плечо, а в ладонях зашевелился клубок ужат. Тогда человек встал, и живое море хлынуло к его ногам. Засмеявшись, он потянулся вверх и, встряхнув руками, опал на траву; зеленый свет вспыхнул на чешуйчатом длинном теле. Золотой венец обнимал змеиную голову.

...Далеко-далеко, на самом краю земли, там, где море Дзинтарис лижет серыми волнами плотный белый песок, где разлапистые сосны растут на обрывах, вцепившись корнями в осыпавшийся берег, где осенью поля лиловы от вереска, а весной белы от ветрениц, стоит янтарный замок, и девочка с зелеными глазами сидит на пороге – ждет свою судьбу. Пересыпает в руках янтари.

Эгле королева ужей.

Волны бьются о валуны стен, кроша их в медовую пыль, чтобы потом, когда отойдут мартовские шторма, можно было отыскать в полосе прибоя солнечные осколки, и сидеть в песке, перебирая их в пальцах, и думать, как плакала Эгле, когда Романа – того, которого против воли людей и неба она выбрала себе в мужья – когда его не стало.

Говорят, его долго не могли поймать. Не знали, не умели догадаться, что князь Ургале по ночам оборачивается ужом, потому что стены янтарного замка крепки, и не спит стража. А потом дознались. Схватили, привезли в цепях, израненного и черного от крови, так,

что черт лица было не разглядеть, и Эгле плакала и ломала руки, когда его, привязанного к кресту, опускали в яму с вапной.

Сколько слез нужно выплакать женищине, чтобы отмолить мужа у смерти? Какова должна быть любовь, чтобы проторить человеку обратную дорогу из-за Черты, отделяющей мир мертвых от мира живых? Никто доподлинно не может знать этого. Но Роман вернулся в силе и славе, и вновь собрал вокруг себя ужинное воинство, и дал ему имя Райгард – по названию замка на озере Свир: там Гивойтос, как называли теперь восставшего из мертвых князя Ургале – поставил первый орденский замок.

И они были сильны, эти люди, и дети их детей и внуков – воинство Пяркунаса, – даже после того, как Романа не стало. Он ушел, оставив после себя двоих сыновей. Близнецов. Одного из них сразу после рождения отдав туда, в мир не-живых. Чтобы и там, за Чертой, воцарился мир, чтобы мертвые оставили живых в покое. И закон наследия Райгарда был нерушим почти три столетия, до тех пор, пока Крест Господень в огне и крови не возшел над этой несчастной землей. И тогда славное нобильство оставило Гивойтоса, и обрекло преданных им на вапну и смерть.

Но до сих пор на краю земли стоит янтарный замок, и волны бьются о стены, и сидит на пороге, перебирая янтари, зеленоглазая девочка.

И ждет, ждет.

И несется в ноябрьских бурях среди облаков и снега Дикий Гон, и четыре всадника правят коней на огни человеческого жилья – Наглис, Васарис, Саулюс и Грудис. Не спрятаться от них и не спастись, и даже самые крепкие стены не будут защитой, и ни грехи твои им не надобны, ни добрые дела. Настигнут четверо на вороных и серых конях – как ночь и как рассвет – и пятый всадник, Ужиный Король, Гивойтос – придет за ними и возьмет твою душу.

Путешествие королевы

Глава 1

Ликсна, Мядзининкай.
Май 1947

– Люся! Лю-уся!.. Ты хде, Люся?!

Бабка орала, стоя на балконе, перевесившись через перила, над ее головой ветром вздувало свежeweыстиранные простыни. Из заросшего буйными сорняками палисадника бабку было прекрасно видно. Зато саму Варвару видеть никто не мог.

– Вылазь, паршивка! Поймаю – шкуру сдеру!

Варвара злорадно хмыкнула. Не такая она дура, чтоб высовываться. Бабка уж всяко найдет, чем ее занять.

Ветки сирени волнами ходили над головой, из близкого оврага удушающе пахло донником и белоцветом, время от времени, если неосторожно повернуться, в локти и голые колени впивались репейники и жалила молодая крапива. На дне оврага неслышно журчал ручей.

– Лю-уся-а!!

Вообще-то Люсей – то есть, Люцыной – звали Варварину мать, но в бабкиных мозгах, давно и прочно погрузившихся в старческий маразм, внучка и беспутная дочка давно слились в единое целое. Бороться с этим было бессмысленно, да Варвара и не пыталась. Иногда так было даже удобнее. Хорошо, чтобы в бабкину блажь уверовали бы и все остальные – от школьных преподавателей до почтальонши, приносившей бабкину пенсию и вечно скандалящей, что не может она отдавать такие деньжищи ни полоумной старухе, ни сопливой пацанке.

Но с этим получалось туго. Приходилось жить с тем, что есть.

Варвара сидела в палисаднике, в травяных зарослях, и смотрела на лес, не отводя глаз. Лес был совсем рядом, рукой подать. За кочковатым лугом, щедро присыпанным одуванчиковыми искрами, вставала сине-зеленая прозрачная стена.

Бабка давно бросила ее звать, ушла в дом, но Варвара даже не пошевелилась. Хотя, казалось бы, вот она, долгожданная свобода. Можно идти куда хочешь, не особенно прячась, в поселке все равно никому нет до нее дела. Но она сидела и смотрела на лес – уже который час, так что под веками жгло и ломило виски.

А лес смотрел на нее. И в этом взгляде Варваре чудился недобрый, изучающий прищур.

Они ненавидели друг друга, так ей казалось.

Их дом стоял на краю поселка: обшарпанная пятиэтажка с рябиной и сиренью в палисадниках, да еще несколько чахлах елок и можжевельников по обочинам аллеики, выводящей на единственную в поселке улицу, длинную, как осенний тоскливый дождь. Когда-то улица упиралась напрямиком в ворота кляштора; оттого вся окраина поселка носила название Монастырек. По большей части презрительное, потому что селились здесь, в низине, возле самого леса, все больше пропойцы, городская нищета.

За домом тянулось неширокое поле – все в рытвинах и воронках недавней войны. Поле пересекал ряд кружевных железных опор электролинии, и вечерами, в наваливающейся тишине, было слышно, как гудят и негромко, будто кузнечики в летнем разнотравье, потрескивают провода. Иногда, особенно перед грозой, можно было увидеть, как неяркие синие сполохи, похожие на комки искрящегося тумана, пробегают по земле, по верхушкам трав, и исчезают на подступах к лесу.

С виду лес был самый обычный: елки, редкие сосны на пригорках, бузина и осина в мокрых распадках, где по дну оврагов змеился тот самый ручей, жгучие заросли конского клевера. В лесу жили птицы, зайцы, редко можно было увидеть, как мелькает между деревьями рыжий лисий хвост... ну, уж выползали погреться на пнях в солнечные дни... ужей было много.

Но всякий раз, как Варвара ступала под рябиновые ветки, нависавшие над уводящей в лес тропинкой, ей чудилось, что там, в зеленой гуще, все замирает и множество чужих глаз впивается в нее – с любопытством и плохо скрываемой неприязнью.

Зимой было проще. Зимой она почти ничего не замечала. Ручей замерзал, а заодно с ним и болотце, через которое в летние месяцы жителями поселка бывали перекинуты совершенно бесполезные мостки. И можно было, не думая ни о чем, кататься на самодельных ледянках с горок, и собирать на мшаниках замерзшую клюкву и шишки на растопку железной печушки, которую бабка соорудила на кухне, в тайне от пожарных инспекторов, потому что морозы стояли лютые, а батареи, из-за скупердяйства поселковых властей, почти не грели.

Но то было зимой. А когда сходил снег и на подсохших проталинах появлялись бледные ветреницы, и оттаивал ручей, а небо над поселком становилось прозрачным и влажно-синим... Варваре хотелось спрятаться с головой под одеялом и вообще никогда не выходить из дома.

В эту весну она решила, что так дальше продолжаться не может.

Но тут пришла большая вода.

Весна в этом году выдалась дурацкая, суетливая: то снег валил хлопьями, то оголтело шпарило солнце. Такая свистопляска продолжалась примерно до середины апреля. А потом стремительно растаяло и просохло все, что могло растаять и просохнуть, буйно и густо поперли на свет божий одуванчики, наклюнулась сизыми почками и лопнула сирень... короче, спутав все календари и сведя с ума ботаников, к началу мая уже отцветали ландыши.

А половодье задержалось. Исlochь стояла тихая и обмелевшая от неожиданной жары. Мальчишки, презрев уроки, вовсю брызгались на отмелях у старой водонапорной башни. Между тем, как утверждали всякого рода синоптики, за границами округа, в тех же Островах, да и в Лунинце, в лесах еще не стаял последний снег. Впрочем, теперь такая погодная карусель уже никого не удивляла.

Большая вода накатила, как водится, ночью. Когда никто не ждал и не чаял. Исlochь вспухла, как нарыв, потоком снесло самодельную дамбу на Жерновах, и к утру Монастырек уже плавал. Эвакуировать никого не стали, разве что тех, кто додумался построиться совсем в низине. Наводнения здесь были делом привычным, и с приходом паводка хозяева просто перебирались жить на любовно и со вкусом оборудованные чердаки.

Над крышами домов развевались белые флаги; оседлав печные трубы, голосили спятившие от безысходности коты, а по улицам разъезжали моторки из поселкового Комитета Спасения. Они же всю следующую неделю развозили детишек по школам: стихийное бедствие, мол, не повод отлынивать от занятий.

Артем ворчал и злился: взрослые-то сидели по домам, потому как наводнение пришлось аккурат на Великодную Неделю. Школьное же начальство, полагавшее религию сплошным опиумом для неокрепших детских умов, за посещаемостью в эти дни следило люто. Несколько скрашивало положение дел то, что дядюшке его, Ярославу, тоже приходилось таскаться в школу. Славочку, материно «солнце ненаглядное», угораздило податься в педагоги. Яр злился, только что копытом землю не рыл. Но подавать дурной пример племяннику опасался. Артем, зная крутой дядюшкин нрав, все ждал, когда у того полетят тормоза. В какую минуту это произойдет и чем будет чревато, Артем не очень себе представлял. Но чувствовал: скоро.

Мать собралась и уплыла на дальние огороды. Еще позапрошлой весной поселковая управа выделила им участок на Песочне. Земля там была плохая и тяжелая, и до колонки тащиться приходилось чуть ли не с километр, так что ни о каком поливе речь не шла. Только если уж совсем край... все прошлое лето – пекло адово – Артем с Яром, надсаживаясь, таскали воду коромыслами, потому что горело все, от укропа до абрикосов, а это значило, что зимой можно будет и зубы на полку положить. Все, что на Песочне росло, кроме картошки и фасоли с капустой, мать на пару с соседкой теткой Люцыной продавали на рыночке у вокзала. Тетка Люцына, когда бывала трезва, помогала матери дотащить до рынка тяжеленные корзины с товаром, ну и в огороде покопаться не отказывалась, уже какое-то подспорье. Кроме того, торговля шла прилично, плюс Ярова немудрящая зарплата, ну и мама работала все-таки, в отличие от алкоголической соседки... в общем, если не беситься, то на жизнь хватало.

Жесть на крыше нагрелась так, что больно было локтям и коленям. Артем подгрел под себя налетевшие за ночь тополевы листья – обещали грозу и шквальный ветер, но на землю так и не пролилось ни капли. Он собирался еще посидеть, но тут Яр постучал в крышу шваброй. Это значило, что завтрак готов и нужно поторапливаться, скоро школьная моторка подрулит.

Ярослав брился, смешно выставя заросший светлой щетиной подбородок. Артем хихикнул: дядюшке было явно не с руки, потому как свою пижонскую бритву, подарочек на защиту диплома, причем подарочек от любимой девушки, Яр ухитрился забыть внизу. Теперь этой бритвой только рыбам чешую полировать... растяпа.

– Сам растяпа, – сообщил Яр, ловко соскабливая густую пену с правой щеки. – Пока ты там на чердаке кудахтал, каравелла ушла.

Под каравеллой разумелась школьная моторка, и Артем приготовился бурно радоваться, но вредный дядюшка осадил его пыл.

– Лопай давай, счас «казарку» накачаю.

– Вот еще, надрыватьсья...

– У тебя сегодня зачетная по геометрии, – заботливо напомнил Яр. – Так что вперед.

Артем с убитым видом покосился на кастрюльку с манной кашей. Уж чего в этом доме водилось, так это молока. Молоко им через день носила соседская бабка Галя, у которой была неслыханная по нынешним голодным временам корова и две козы. Коз этих Артем иногда пас – за малую мзду, на кино и мороженое. Впрочем, любви к манной каше это не прибавляло.

– Не пыхти, – не оборачиваясь от зеркала, сказал Яр. – Я же не зверь какой. Бутерброды и чай, а то у тебя успеваемость до нуля скатится.

– Не скатится, – Артем впился зубами в хлеб с маргарином. Маргарин был сладкий, но почему-то пах мылом. – Куда ей катиться, я и так двоечник.

«Казарка» – надувная двухместная лодка, весьма популярная в среде туристов-матрасников и начинающих контрабандистов – покачивалась у подоконника Яровой спальни. Сам дядюшка – чисто выбритый, в наглаженных светлых штанах и при галстукке, напыленном неизвестно по какому случаю, – сидел на подоконнике, задумчиво разглядывая самодельное весло. Он ловко перелез в лодку, бросил племяннику на колени завернутый в газету веник мокрых пионов и как бы между прочим заметил, что такая везуха до скончанья времен продолжаться не будет. И пускай Артем не вздумает опоздать на обратный школьный рейс. Назад его никто не повезет.

– У меня дела в городе, – объявил Яр. – Буду поздно. Матери скажешь...

– Что ты по девицам пошел.

– Дурак, – сказал Яр печально. – Цветы до вечера завянут. Кто ж по девицам с квелым веником бегаает.

Варвара сидела на заборе, всем своим видом напоминая промокшую ворону, и, прищурив левый глаз, прицельно стреляла по плывущей в потоке школьной зачетке жеваной бумагой. Зачетка плыла, покачиваясь и вздрагивая коленкоровым переплетом, но тонуть не спешила. Варвара злилась. На торчащей из воды жердине болтался тощенький ее рюкзачок. Учебники в школу Варвара таскать не любила, она и вообще-то учебу ненавидела больше, чем это положено подростку. Учителей, правда, такие тонкости мало заботили, они лепили Варваре двойки косяками, Артем рядом с ней выглядел круглым отличником.

Во всей школе Варвару жалел только Ярослав. Оно и понятно: сталкивались они всего раз в неделю. Яр, кроме обучения своих сопливых первоклашек, преподавал по совместительству еще и военное дело. А барышням, как он считал, совершенно ни к чему были такие умения, как собирание карабина Заточникова за сорок секунд и разбирание оно же секунд за двадцать. По военному делу пятерки были почти у всех девиц.

– Большому кораблю большое плавание, – Варвара лениво зевнула, сдунула с переносицы косо упавшую прядь.

– В смысле – плыви, галоша? – немедленно взвился Артем. А Ярослав подрулил к изгороди и вежливо протянул Варваре руку.

– Залазь, подвезем.

– Вот еще!.. я моторку подожду. – Варвара вскинула подбородок. Пригревающее солнце коварно высветило на ее лице все до единой веснушки. Артем почти шкурой ощутил, как внутренне напрягся Ярослав. Варвару он жалел, это да, но жалеть и любить – слишком разные вещи. Он ей сочувствовал. Варвара была похожа на вымазанную в йод бледную поганку: невзрачное личико с острым носом, густо обсыпанным конопатинами, серые глаза и мышинный хвостик волос на затылке. Отца у нее никогда не наблюдалось, а мать была алкоголичкой со стажем, и этой весной дядьки из отдела нравов при управе всерьез грозились отправить пани Люцыну лечиться. Вот пускай только вода сойдет. То есть, это так называлось, что лечиться, а на самом деле...

Попечительский школьный совет назначил Варваре стипендию по потере кормильца, но в интернат сдавать пока не спешил. Хотя, конечно, Варвара была им как кость в горле. Но, едва сошел снег, вдруг обнаружилось, что у Варвары есть бабка. Та прикатила из Островов, поселилась в своем собственном доме, который без людского пригляда сделался похожим на курятник, а потом, когда ее непутевая дочка совсем пропала, переселилась в так называемую городскую квартиру: серую пятиэтажку на самой окраине Ликсны.

– Моторка ушла, – сказал Артем.

– Ну и фиг с ней.

– Будете выдрючиваться, панна Стрельникова, я на вас докладную напишу, – будничным тоном и, кажется, всерьез, предупредил Яр. – За отлынивание от занятий.

Артем от неожиданности охнул. Две таких докладных за Варварой уже числились, еще одна – и прощай, стипендия, на что она тогда жить будет со своей полоумной бабкой? На бабкину пенсию? На нее не прокормишь даже котенка, хотя, как уверяет реклама в газетах, желудок у того не больше наперстка. А потом, как завершение карьеры, ждет Варвару интернат в Серебрянке. Яр что, вообще всякий стыд потерял?!

Варвара аккуратно слезла в «казарку». Уселась на корме, положив на колени полупустой ранец. Лодка тронулась, разогнав небольшую волну, и Артем услышал, как перекачивается у Варвары в пенале одинокая ручка.

– Я вас, пане Родин, ненавижу, – сообщила Варвара с милой улыбкой.

Яр снисходительно хмыкнул. Правды в ее словах было чуть.

– Вот и делай после этого людям добро.

Они плыли пустой солнечной улицей. Кошки грелись на коньках крыш, петухи топорчили перья, сидя на торчащих из воды штакетниках, как на насестах. Над крышами развева-

лось белье: пользуясь солнцем, хозяйки торопились хоть немного просушить постели. Дома от этого были похожи на парусники, и зеленые волны сирени ходили над темными надстройками чердаков. Пахло зацветающими садами, в желтую мутноватую воду летела белая цветень. Артем подумал, что позднее половодье – это все-таки красиво, и если бы можно было выпросить у Яра лодку на выходные, и Варвара бы согласилась... Но додумать эту мысль не успел: приплыли.

Школьникам городского поселка Ликсна не повезло с самого начала. С того самого момента, как первый градоначальник окружного города Омель, обзрев окрестности вверенной ему местности, принял решение строить храм знаний на взгорке, в окружении тогда еще молоденьких, а теперь почти что вековых лип и каштанов. И сегодня школьный двор, заботливо посыпанный желтым песочком, был оскорбительно сух: даже последняя лужа, в которой еще в прошлую пятницу с таким восторгом плескались Яровы первоклашки, высохла бесследно.

Яр привязывал «казарку» к мосткам, когда сверху, с горушки, сквозь распахнутые окна рекреаций, залиwachто грянул колокольчик.

– Все, граждане, быстренько, мы почти что опоздали.

Неизвестно, как там Яр, но сам Артем все-таки опоздал. Можно было бы, конечно, потопиться, но ноги почему-то не шли. Школьные коридоры пахли пылью и свежей мастикой: только что натертый паркет оливково золотился в свете позднего утра. В углу, на лестнице, ведущей в преподавательскую, стоял хмурый Ростик и непедагогично крошил сигарету о лакированные перила.

Артем обалдел. Никогда он не видел директора в таком мрачном расположении духа. Директор обыкновенно бывал тощ, сутул и неприлично весел – таким людоедским весельем, и очки в тонкой стальной оправе, криво сидящие на его загорелом костистом лице, впечатления этого нисколько не сглаживали.

– Родин, ты почему не на занятиях? – не сразу опомнился Ростик, завидев бредущего по коридору Артема.

– Доброе утро, Ростислав Андреевич, – на всякий случай сказал Артем. Утро было, на самом деле, очень так себе, но Ростика это не касалось.

– Прогуливаешь?

– А у меня освобождение, – соврал Артем ничтоже сумняшеся. Не станет мрачный Ростик проверять. А пока Яра встретит, и вовсе забудет. – До третьей пары.

– Это риторика?

– Литература.

– Ага, – удовлетворенно хмыкнул Ростик, раскрыл сигарету окончательно, подошвой смел в лестничный пролет табачную пыль. Потом достал похрустывающий от крахмальной свежести платок, вытер руки и взял Артема за плечо цепкой стальной хваткой. – Прогуляешь – башку сверну.

– Почему?

– Потому, – сказал Ростик. – Доживешь – узнаешь. Все, пошел.

Артем удалился со странным облегчением на душе. Как будто Ростик сделал ему подарок. Впрочем, от разговоров с директором у Артема всегда оставалось такое чувство. Как Ростик ухитрялся так себя ставить – никто не знал. Но первоклашки млели, томные выпускницы травились от неразделенной любви. До преподавательниц Ростик снисходил, что давало им повод хотя бы надеяться... а все прочие директора просто обожали. Даже когда он метал громы и молнии, а такое случалось частенько.

Артем стал у окна. Во дворе галдела и дралась малышня. Яр сидел на поваленной волейбольной стойке и о чем-то беседовал с Манюней – преподавательницей из параллельного пер-

вого «Б». Беседа, по всей видимости, протекала на повышенных тонах, лицо у Манюни было кислое, а Яр, наоборот, злился.

В углу, у забора, пользуясь занятостью педагогов, двое первоклашек увлеченно разбирали на запчасти какую-то железяку. Присмотревшись, Артем узнал в ржавых обломках противопехотную мину. В нем мгновенно все заглодело от ужаса. И только через пару минут, оттаяв, Артем сообразил, что это муляж. Учебное пособие, списанный хлам. Игрушечки у Яровых пацанов, однако... Дети ковыряли снаряд увлеченно и со знанием дела, железяка ерзала по траве, оставляя в зелени длинные черные полосы.

Жухлая трава, мокрые комья земли...

Артем ощутил острый приступ дурноты. Школьный двор надвинулся резко, будто при падении, и голова закружилась. В глазах зарябило от цветных маек и девчачьих платиц. Артем с силой рванул запечатанную на зиму оконную раму.

– Вам плохо?

Был у них в школе такой дурацкий обычай: ко всем, кто ростом повыше подоконника, обращаться на «вы». Обычай-то был, но в повседневном общении мало кто из преподавателей утруждал себя манерами. Ну если только на принцип шли. Но всех таких принципиальных Артем знал наизусть.

Пахло солнцем и нагретой травой. Ветер нес в распахнутое окно одуванчиковый легкий пух. Завивались на подоконнике крохотные белые смерчки. Перед Артемом, ловя пушистый вихрь ладонью, стояла женщина в темном глухом платье. На ее отчаянно некрасивом, с неправильными чертами, лице было написано ленивое сочувствие. Артем ошетинился.

– Мне? Мне – нормально.

– Мне показалось... вы сейчас свалитесь вниз.

Артем презрительно скривился.

– Тут невысоко.

Женщина позволила себе легкую усмешку.

– Не приспособлены вы, кролики, для лазанья.

– Чего?

– Ну... вы же летать не умеете. Грохнулись бы вниз, сломали шею... знаете, молодой человек, я в тюрьму не тороплюсь.

– А вас туда и не приглашают.

– Вы полагаете?

Артем закрыл глаза. Качалась под веками зеленая муть, тошно было. Как если бы на яркой, залитой солнцем улице встретилось ему отвратительное чудище – вроде тех, про которых в детских сказках. Неживое, отчаянно притворяющееся живым. Похожее. Всего лишь выглядящее человеком. Необъяснимая, дикая неприязнь.

...дежурный преподаватель. Что?! Она – дежурный преподаватель? Вот это выморочная нежить с похожей на копну сухой травы прической?! В педсовете что, с ума посходили? Да ее детишечки размажут на бутерброды в первый же час. Чем Ростик думал? Явно не головой...

Артем оттолкнулся от ставшего почти родным подоконника и побрел по коридору, пошатываясь и натываясь на шныряющую вокруг малышню. Возле лестницы ему опять попался директор, внимательно заглянул в лицо, поцокал языком и милостиво предложил гулять домой. Но Артем отказался.

В коридоре третьего этажа было почти темно, где-то под потолком горела тусклая лампочка. Из-за двери военной кафедры тянуло сквозняком, и занудный Яров голос излагал про «мертвую зону обстрела» и правила поведения мирных граждан при огневой атаке. «Если обстрел застал вас врасплох и нет никакой возможности спуститься в убежище...», следует завернуться в белую простыню и тихо ползти к ближайшему кладбищу. Бредятина. Артем в сердцах сплюнул. Тем более, что дежурного преподавателя, в чьи обязанности входило нада-

вать учащемуся по шее за столь гнусный поступок, поблизости не наблюдалось. Зато в конце коридора, у лестницы, послышалось некое шевеление. Шаги и стук каблуков. Судя по звукам, в здании обнаружился табунчик антилоп: топотали дамы знатно, а гулкое эхо школьных коридоров доводило перестук до нужной кондиции. Процессия поднялась по лестнице, и стало видно, что возглавляет ее Ростик.

– ... согласно утвержденной департаментом образовательной программе и концепции воспитания детей. Вот здесь, прошу. Ребенок, иди сюда!

Артем не сразу сообразил, что это ему. Подошел. Ростик сверкнул из-под очков гневным взглядом.

– Почему не на занятиях?

За сегодняшнее утро это был второй подобный вопрос, причем от Ростика же. Артем качнул головой.

– Так вы сами отпустили.

Ростик хмыкнул. И заявил, что не в его правилах отпускать людей домой, если те совершенно здоровы и дома у них все в порядке. У Артема же в порядке? Тогда почему он шатается по коридорам? Воображает, что можно до бесконечности пользоваться дядюшкиной добротой? Сопровождавшие директора тетки кивали крашеными прическами, двое потертого вида мужиков, замыкавших процессию, сочувственно пыхтели. Но заступаться за Артема явно не собирались.

– Прошу, – сказал Ростик, гостеприимно распахивая перед Артемом дверь кабинета.

...Лязгнул, вставая на место, затвор, Яр у доски поднял голову, зацепился взглядом за чье-то лицо за спиной у Артема, осекся на полуслове.

– Добрый день, пан Родин, – хищно скалясь, сказал Ростик. – А мы вот тут к вам...

Бахнул выстрел. С потолка ручьями потекла побелка, куски известки эполетами украсили директорские плечи, завизжали девицы и кое-как втолкавшиеся в кабинет тетки из департамента. Над дулом только что собранного учебного карабина Заточникова курился синий, явно не фальшивый дымок.

Глава 2

Омель – Ликсна,
Судува, Мядзининкай
Май 1947 г.

Анджей задремал и проснулся от резкого взвизга шин на мокром асфальте. За окном было темно, струи дождя позли по стеклу сплошными потоками, и выстроившиеся в полукруглую цепочку фонари – дорога в этом месте делала крутой поворот – расплывались в тумане. Города не было видно, а ветер, влетающий в салон машины, пах полынью и степью, и если закрыть глаза, могло показаться, что там, за поворотом шоссе – море, и огни кораблей на рейде, и маячные огни на внешних створах... но лучше не допускать и тени подобных иллюзий.

После долгой и тряской дороги слегка мутило.

– Попросите, пусть остановят.

Сопровождающий – штатный венатор города Ликсна, маленький и щуплый, часто покашливающий и вытирающий платком бледную лысину человек – воззрился на Анджея с суеверным ужасом. Потом постучал в стеклянную перегородку, отделяющую салон авто от водителя, и когда машина, задрав один бок выше другого, остановилась на неровной обочине, первым полез наружу.

Пахло лесом и мокрой травой. Пан штатный венатор раскрыл для высокого начальства раскидистый, как поганка, черный зонт, капли дождя защелкали по туго натянутому полотнищу.

Преодолевая отчетливое желание сесть прямо на землю, Анджей отошел на несколько шагов от машины. Задрал в небо голову. Тучи шли низко, почти задевая рваными краями пушистые, плохо различимые в темноте, верхушки сосен. Редкие зарницы вспыхивали над лесом.

– Вам плохо? – испуганно спросил пан венатор.

– Травой пахнет. Чувствуете?

– Что? – белесые бровки его спутника сошлись в недоумении.

– Ничего. Поедемте.

Анджей был твердо уверен, что отошел от машины всего на несколько шагов. Но вдруг оказалось, что он ушагал по обочине довольно далеко, так, что сигнальные огни почти растворились в дожде и тумане.

– Ну вот, так всегда, – сказал пан венатор, нагоняя высокое начальство и вновь пытаюсь раскрыть над Анджем зонт. Проку от такой заботы не было ровно никакого, хотя бы из-за разницы в росте. И потом, пока они топали по дороге, поминутно отступаясь на кочках и угрязая в лужах, Анджей все равно успел промокнуть до нитки. Он-то, в отличие от своего провожатого, плаща не захватил, решил, что по весенней жаре и пиджака будет довольно.

– Да уберите вы эту глупость! Слушайте, он что, дурак, ваш водитель?

Пан венатор забормотал извинения и оправдания, в которых самым понятным было «всемерно накажем». Ага, подумал Анджей, дыба и колесование, принимать три раза в день по столовой ложке. Было скучно, холодно и смертно хотелось спать.

– Вас как зовут?

– А?..

– Имя ваше как?

– А... зачем?

Он думает, я напишу на него в столицу рапорт, понял Анджей. Я напишу рапорт, и его лишат прибавки к жалованью. А у него семья, огород, теща...

– Да низачем. Просто неловко как-то.

– А-а... – тот вздохнул с облегчением, сунул подмышку сложенный зонт, ладонью обтер лицо. Пальцы были тонкие и будто прозрачные, в несмываемых пятнах чернил. Анджей ощутил что-то вроде брезгливости. – Казимир... Казик. Квятковский.

– Понятно.

– Что вам понятно?

– Да все.

– Ага...

В такой содержательной беседе, изгваздавшись в грязи и глине по самые уши, они кое-как дотопали до машины. Анджей обошел авто, распахнул водительскую дверцу.

В общем, он и ждал чего-то подобного. Предчувствовал. Все к тому располагало: дождь, идущая через лес пустая дорога, идиот-проводящий, даже зарницы над сосновыми верхушками и далекий крик ночной птицы. Учитывая все это, никоим иным образом события сложиться не могли, но все равно он не смог удержаться от проклятия.

Водителя не было.

В салоне было пусто. Вынутые из зажигания ключи валялись на щитке, в пепельнице почти до фильтра дотлела недокуренная папироска – а значит, шофер смылся, самое большее, десять минут назад. То есть, если исходить из простой человеческой логики, они обязательно увидели бы, как он уходит по дороге – или сигает в придорожные кусты, это уж кому как больше нравится. Но они же не сошли с ума?

– Вы что-нибудь видели?

– Что?

– Понятно, – опять сказал Анджей, чувствуя себя круглым идиотом. Он вдруг подумал, что даже глупо спрашивать, умеет ли это чудо держать в руках руль. Венатор, черт подери. Охотник за головами.

– А вы машину водить умеете? – спросил Квятковский.

– А вы? – оскалился Анджей.

– Я? Нет. А зачем? Вообще-то, я, знаете, здешний доктор. Ну, то есть, в Ликсне. Акушер... ну и все остальное тоже. Практика бедная, так что вот, приходится подрабатывать.

– Боже святой, – только и сказал Анджей.

Если он исполняет свои обязанности медикуса так же ревностно и профессионально, как и долг венатора, то бедные его пациенты. Неудивительно, что по бумагам во всем округе Мядзининкай, а уж в Ликсне тем паче, царит мир, покой и божья благодать.

– Пане, – осторожно кашлянул за спиной Квятковский. – Вы бы сели в машину, пане начальнику.

– Это еще зачем?

– Так ночь, опасно же.

– Если судить по вашим отчетам, то бояться тут никакой нечисти невозможно. За полным отсутствием таковой.

Он все-таки обернулся. Квятковский стоял за спиной, и лицо его казалось сплошным белым пятном. Как будто ночь и дождь смыли с этого лица все черты. Анджей сморгнул, и наваждение исчезло. Ни слова не говоря, он полез в теплый пахнувший табаком салон.

Разумеется, мотор не завелся. Анджей как-то сразу понял, что все усилия окажутся тщетными. Это такая игра, и что он может поделаться, если правила дурацкие. Квятковский сидел рядом, сжавшись, будто мышь под веником, слушал, как чертыхается высокое начальство, вздыхал и иногда даже крестился украдкой.

– Ладно, – наконец решил Анджей. – Рассветет – и пойдем пешком. Так вас устраивает? Ну и слава богу. А пока давайте, что ли, ваши отчеты посмотрю.

– Сей момент. – Квятковский вновь закашлялся и полез куда-то на заднее сиденье, повозился там, неловко выгнувшись, так что пиджак конфузливо задрался на худых лопатках, и перед Анджеем явилась невероятных размеров закопченная лампа. Пан штатный венатор встряхнул ее, прислушался к плеску керосина в бронзовом нутре, поправил стеклянный, в языках сажи, плафон и принялся рыться по карманам в поисках спичек. Анджей молча протянул ему коробок.

Фитиль вспыхнул, расцвел красной искрой, и ночь, прильнувшая к стеклам, отодвинулась за край освещенного круга. Сталось нестрашно и покойно. Казик пристроил лампу на специальный крюк над водительским местом и, опять вздыхая и кашляя, вручил Анджее тоненькую картонную папку

– Это что?

– Отчет. Вы же просили.

Анджей развязал веревочные тесемки. В папке был один-единственный лист бумаги, до половины заполненный машинописными строчками. Надо полагать, в жизни городского поселка Ликсна за последний год необъяснимых событий не случилось вовсе, а те события, которые объяснить реальными причинами было можно, автор сего монументального труда вносить в реестр не считал нужным. Ну, и нечисти никакой в поселке нет и не было никогда. Ни болотников, ни нав, ни еще каких умертвий. Не выживают они тут, климат уж больно суровый.

– Слушайте, – Анджей положил на место прочитанный лист, закрыл папку и тщательно завязал веревочки. – Если я покажу этот литературный шедевр в столице, вас не просто попрут с должности с позором и всеми положенными к случаю церемониями. Вас под трибунал отдадут. Вы это понимаете?

– Нет. А почему?

– Потому. Вот смотрите. – Он щелкнул замками кожаного буюара и принялся раскладывать перед обалдевшим Казиком листы тонкой дорогой бумаги. От цифр, диаграмм и густой машинописи рябило в глазах, и колеблющийся свет лампы не прибавлял ясности. – Вот отчеты по округам Лишкявы, это Шеневальд, вот это – по кревским окраинам, мы туда особо не лезем, там своя служба имеется. Видите? Едва ли найдется кто, способный назвать ситуацию спокойной. Скорее уж наоборот, причем, что интересно, положение дел наиболее удручающее отнюдь не там, где проходили события Болотной войны. Во все наоборот. Там, где войны никто не помнит, ночью страшно и шаг за калитку ступить. Да и днем небезопасно тоже. Описания почитать хотите?

– Н-нет.

– Это правильно, – похвалил Анджей. Потому что от этих описаний человек некрепкого рассудка легко мог этот рассудок утратить. – В общем, вы понимаете. Там, где прошла война, там люди еще помнят. Они ходят в храмы, на кладбища и куда там еще положено, они знают по именам всех, кто погиб, они их помнят, и эта самая память хоть как-то помогает их мертвецам оставаться людьми... если можно так сказать. Не превращаться в нечисть окончательно и бесповоротно. Да, я понимаю, что это суеверия и предрассудки, но, в сущности, вся наша с вами работа – это суеверия и предрассудки, потому что ничего другого у нас нет. А вы, я надеюсь, понимаете тоже, что в Мариенбурге пока еще очень далеки от идеи увековечения воинской славы северо-восточных окраин империи.

Квятковский слушал его и кивал – уныло и обреченно. Анджее не хотелось смотреть на него.

– И вот вы, штатный венатор поселка Ликсна, поселка, который всегда оставался в стороне от боевых действий, которого война не коснулась даже дыханием, подаете мне отчет, и в нем указываете на один неявный случай появления нечисти и одну наву. Как тут у вас принято – вересковую женщину. Романтики... хорошо хоть, не забыли под регистрацию ее подве-

сти и налоговую ведомость оформить. Да, я прочел, что она никоим образом не нарушает Уложения о мерах допустимого зла. Какие выводы, по-вашему, я должен из всего этого сделать?

– Какие? – покорно спросил Квятковский.

– Такие. Что вы либо наплевательски относитесь к своим обязанностям, либо противники ваши столь сильны, что не позволяют себя обнаружить. Что отнюдь не снимает с вас вины.

– Почему?

– Потому что, в таком случае, вы, как добросовестный государственный чиновник, обязаны были заподозрить и принять меры. Вызвать венаторов из столицы.

– Ну так вот... – с облегчением вздохнул Казик.

– Что – вот?!

– Ну вы же и приехали.

Этот день – завершающий короткую череду весенних месяцев, такой долгий, такой бесконечно обыкновенный, ничем не примечательный – Стах князь Ургале будет помнить всю свою жизнь, и потом, когда все завершится, перед глазами его будет стоять только этот ясный солнечный свет в открытой анфиладе отцовского майоратного дворца и зеленоглазая девочка в смешной селянской сукне с вышиваным подолом и низкой янтарей на худой загорелой шее...

Он просыпался в утренних прозрачных сумерках. Кругом стояла влажная сонная тишина, ветер колебал кисейный полог постели, вздувал занавеску на высоком, в пол, окне. Дальше была балюстрада и замковый парк, молчащие над берегом Ислочи сосны... Под окном натекла лужа: ночью был дождь. Стах представил, как сейчас натянет полотняные штаны и рубашку, перескочит мраморные перила и окажется в парке, среди вековых дубов и необхватных тополей, а потом сиганет с обрыва в речку... это неправда, что в конце мая купаться еще холодно. Он уже счет потерял, сколько раз переплыл Исlochь от берега до берега, но Вежису – приставленному к нему дядьке – знать об этом необязательно.

– Пане княжичу?

Стах застыл – как стоял, с занесенной над перилами ногой. Вежис прошел от дверей, пересек покой, по дороге подняв брошенную на пол книгу, и остановился на пороге балюстрады.

– Не стоит, право же... – Вежис покачал головой, видя, что Стах все-таки собирается сбегать. – Одевайтесь лучше, у нас сегодня дела.

И вот они едут... Коляска, запряженная парой мьяшастых кобылок – Вежис не доверяет никому и строго следит, чтобы в коляску запрягали только таких, смиренных, – стучит колесами по лесной дороге, подскакивает на древесных корнях, и всякий раз дядькова усмешка делается чуть более напряженной. Он правит лошадьми и не смотрит на Стаха, а когда оглядывается – то улыбается и качает головой, не желая отвечать на расспросы, и на самом дне его серо-зеленых, как здешнее море, глаз, живет непонятное беспокойство.

До майората далеко, почти полдня пути, но делать нечего. Они бы жили в майорате, но в Резне коллегium при кляшторе, а ему надо учиться, поэтому приходится жить в Резненском палате. Стах – будущий князь Ургале, он не может вырасти невеждой. Так что придется трястись в коляске до Ургале. Ехать скучно, зато на уроках тосковать не надо. Вакаций в коллегiumе нет: резненским мнихам что осень, что зима, что красно лето, они полагают, будто для ученья всякое время года подходит. Тем более, если ты будущий князь. А тут внезапная передышка. Хорошо же? Тогда почему так сжимается и ноет сердце?

Девочка сидела на каменной скамье, послушно и скучающе сложив на коленях руки, и рассеянно следила, как перемещается на мозаичном полу тень рябиновой ветки. Сама ветка

нависала над ведущими во двор ступенями, совсем низко, но все-таки оставаясь недоступной. На лице девочки было написано капризное неудовольствие. Если бы не чужой дом и не платье, в которое ее нарядили, по утверждению няньки, ради праздника, все было бы проще. Тем более, что и розы на круглой огромной клумбе, посреди которой лениво плескался и брызгал фонтан, тоже были хороши. Девочка смотрела на цветы, прикусив нижнюю губу, и часто вздыхала. А клумба была пестрая, как лоскутное одеяло. Нигде большие, кроме как в Ургале, розы не цвели так рано. Но розы недоступны. Она же воспитанная паненка. Она обещала няньке, что будет вести себя хорошо, а нянька передала матери...

На парковой дорожке опять показался рыжий с черными подпалинами пес. Раньше он лежал у фонтана, но подойти к девочке так и не пожелал, а приманить было нечем: платье парадное, а значит, карманы пусты.

Хоть бы скорее пришла мама.

– Здравствуй, растение

Она подняла голову. Взгляд уперся в разбрызгивающий солнце кусок дикого буриштына на грубой железной цепи. Ее звенья приминали тонкий лен рубашки. Девочка перевела взгляд выше, увидела улыбчивый, перемазанный травяным соком рот, царапину на твердом подбородке и, наконец – внимательно изучающие ее синие узкие глаза.

– Здравствуй и ты, – сказала девочка с достоинством.

Он улыбнулся и присел перед ней на корточки.

– Ты чья?

– Ничья. Я не понимаю таких вопросов.

Мальчишка улыбнулся еще шире. Ему нравилось, как она отвечает.

– А сколько тебе лет?

– Семь, – сказала она гордо и добавила: – Я уже взрослая.

– Ай да растение! – восхитился он и прихлопнул себя по коленам. – Как же тебя зовут, такую взрослою?

– Эгле. – Она взглянула исподлобья. – А если ты будешь меня обижать, я позову маму.

– Так ты здесь с матерью? А где она?

Эгле кивнула на дверь в конце галереи. Похоже, мама просто забыла о своей девочке. И о том, что мир полон упрямых псов и недобрых мальчишек.

– А ты кто? Я в Ливнах всех знаю, и в Резне тоже, и даже здесь, в Ургале, а тебя не видела никогда.

– Князь.

– Что-о?! – протянула Эгле недоверчиво. – Не рассказывай сказки! Думаешь, если я младше, так меня можно дурачить? Мальчишки не бывают князьями. Твой отец – да, наверное, но не ты.

– У меня нет отца.

Эгле не нашлась, что ответить. А мальчишка встал, повернулся к кустам сирени и при-свистнул. Эгле замерла от восторга, когда давешний пес в два прыжка перемахнул клумбу.

– Твой?

– Нет. Живет при стайнях.

– А ты?

– Я? – он удивился. – Что – я? Я дома живу. С опекуном.

– Он тебя бьет?

– Он меня ни разу пальцем не тронул, – сказаал мальчишка удивленно. – Хотя говорит, что стоило бы.

– А зовут тебя как?

– Стах.

Пес разлегся под скамьей, у самых ног Эгле, так что, если бы она встала, непременно наступила бы ему на хвост. Стах, переминаясь с ноги на ногу, стоял у колонны, и было совершенно не понятно, отчего он не уходит. Эгле потрянула локонами. Странное ощущение власти над этим мальчиком было неожиданным и острым.

– Хочу розу, – сказала она.

– Чего-чего?

– Розу. Вон ту, с клумбы.

– Пойди и сорви. Можно.

– Еще чего! – она фыркнула, забавно оттопыривая губку. – Я девочка.

– Что-то незаметно, – со вздохом признался Стах и с неохотой оторвался от колонны. Он принес и положил ей на колени багряно-черную с алым окаймлением розу на длинном шипастом стебле.

– Осторожней, растение. Не исколи руки.

– Смотри, кто-то идет.

Дверь растворилась, и в глубине покоев показалась быстро идущая к выходу женщина; следом за ней шел высокий мужчина в белом улане.

– Поглядите, пан Вежис, – позвала женщина своего спутника, понимая, что дети слышат их.

– Ну что же, пани, – Вежис усмехнулся в усы. – Князь растет. Рыцарь... Поди сюда, мальчик.

Стах оглянулся на Эгле. Она сидела раздавленная, напуганная ожиданием скандала.

– Не бойся, – сказал он серьезно и тихо. – Я не дам им тебя обижать.

Спустя несколько минут, после положенных церемоний знакомства, обещаний видетсья, приезжать почаще и не забывать взрослые выставили их вон.

– Боюсь, ему скучно с нею, – с беспокойством сказала женщина, глядя на две фигурки, неторопливо шагающие в переплетении теней и света по аллее. Хорошо ли мы сделали, пан Вежис?

– Когда он достигнет совершеннолетия, ей будет только четырнадцать. Но потом, пани Бируте, ему стукнет двадцать пять, а ей – восемнадцать. В самый раз.

– Да.

– Вы же не хотите, чтобы молодой князь женился на старухе. И потом, то, что ей предстоит пережить... лучше, когда такое случается с молодыми.

– Лучше, когда такое вообще не случается. Вы мужчина, пан Вежис. Вы не представляете, что это такое – потерять ребенка.

– Пани Бируте. – Вежис помолчал, дожидаясь, пока дети скроются за поворотом аллеи. – Нужно бы сказать им. Хотя бы Стаху. Девочка мала и едва ли поймет что-либо... но Сташек должен знать.

Она чуть наклонила голову.

– Хорошо. Скажите. И еще, пан Вежис. Не настаивайте на его поездках в Ливны.

– Как скажете, пани.

Она улыбнулась и подала ему руку, позволяя проводить себя до кареты.

Самое страшное, что с ней могло случиться – случилось. Она заснула. В лесу. Прямо посреди круглой, как пятак, поляны, желтой от «курых лапок», с черными суровыми елями по краям. Вот так выломилась из чащобы, мокрая и злая, остервенело отмахиваясь от комариной стаи и потирая зудящие от царапин и крапивных волдырей лодыжки и локти – и оказалась посреди тишины и солнца, по колено в густой и мягкой траве.

Сначала Варвара просто сидела в этой траве, бездумно глядя прохладные стебли. Они скользили меж пальцев, как водяные струи. Из сумрака пахло ландышами, и от этой ледяной горечи немели ладони и ныл висок. Память милосердно затирала подробности недавнего скандала.

То есть, когда все случилось, она не испугалась ни капельки. Было не то чтобы страшно – напротив. Эти тетки орала на нее так, как если бы она собственноручно застрелила по меньшей мере десяток инспектрисс. И Ростик смотрел укоряюще: вот, мол, я тебе доверял, а ты так меня подставила, Стрельникова. Ему даже в голову не пришло усомниться в том, что она вообще виновата. Этот тип, который притащился во главе делегации, сказал ему два слова на ухо – и у Ростика сразу сделалось такое лицо... будто на жабу наступил. А еще клялся, что никакая чиновная мразь ее и тронуть не посмеет, только через мой труп, говорил... труп.

Она легла на траву и закрыла глаза, заново переживая случившееся.

Кучерявые весенние облака плыли, цепляясь за черно-синие верхушки елей. Муравей взбирался по травинке, блестел лаковой каплей. По сравнению с этим все остальное было таким... неважным, что ли? эта мысль поразила ее, но как-то вяло. Варвара закрыла глаза. Солнце качалось под веками горячей черно-зеленой каплей.

– Тихо!

Ему совсем не потребовалось кричать на них. У него был негромкий и очень спокойный голос, который необъяснимым образом был услышан всеми в единую секунду, и там, где только что стоял гвалт и вопли до небес, внезапно воцарилась полная тишина.

– Тихо, – повторил он своим удивительным голосом и, приобняв за плечи обомлевших от недавнего ужаса инспектрисс, раздвинул их плотный строй и прошел к доске. – Всем сесть.

Грохнули крышки парт. Вновь наступила тишина, в которой было слышно, как шуршит, оползая, побелка и поскрипывает, успокаиваясь в качании, шнур люстры над преподавательской кафедрой.

– Каждому, кто закрыл рот, большое человеческое спасибо. Оружие попошу.

Яр послушно протянул гостю злосчастный карабин.

– Также прошу всех оставаться на своих местах. – Гость в несколько выверенных до автоматизма движений разобрал карабин, задумчиво покачал головой, когда убедился в том, что заряжен он не был, протянул руку, в которую Яр, сделавшийся вдруг удивительно понятливым, вложил классный журнал. – Спасибо. Теперь тот, чью фамилию я называю, встает, говорит «я», садится и не издает более ни звука. Понятно?

– А вы кто? – строптиво поинтересовались с задней парты.

– Допустим, начальник комиссии из окружного департамента образования. Или вас имя интересуется, молодой человек?

– Интересует!

– Представляться я буду вашим родителям, если они того пожелают. Приглашать родителей? Нет? Прекрасно. Еще вопросы у кого-нибудь имеются? Тогда приступим. Берут Аделя!

– Я, – беловолосая, тонкая, как свечка, Аделя осторожно вылезла из-за парты. Постояла, бледная до прозрачности, хлопая ресницами и отчаянно краснея, потом, не дождавшись никакого ответа, так же осторожно села на свое место.

Начальник комиссии окружного департамента образования смотрел на нее без всякого выражения на лице.

Он стоял у доски, расставив ноги, обутые в тяжелые, армейского образца, высокие ботинки, и чуть покачивался с пятки на носок. Глаза его – один зеленый и насмешливый, второй – серый, мертвый – смотрели на класс. Тетки из комиссии молчаливо подпирали дверь. Кажется, они даже дышать забыли, не то что стонать и возмущаться.

– Богданович Юзеф!

Они вставали, Варварины одноклассники – один за другим, ежились и сутулились под этим странным взглядом, потом, облегченно выдыхая, садились на место. Протестовать и спорить никому и в голову не приходило. Они были будто замороженные, придавленные чужой волей, и в этом ощущалась чудовищная противоестественность. Почему-то Варваре казалось, когда до нее дойдет очередь, она не сможет встать. Ноги откажут.

Она сидела, бездумно вертя в пальцах карандаш, зачем-то пробуя пальцем острый старательно отточенный грифель.

– ...Родин Артем!

Вызывающе громко хлопнула крышка парты.

– Я!

– Стрельникова Варвара!

Карандашное острие воткнулось в палец. Варвара закусила губу. Почему она до сих пор сидит? Она ни в чем не виновата! На подушечке пальца выступала алая капля, постепенно окрашиваясь черным – от графитового стержня.

Начальник окружной комиссии перестал покачиваться с пяток на носки и шагнул к Варвариной парте. Наклонился, заглядывая Варваре в лицо. Что он прочел в ее глазах – бог весть, а только выпрямился, захлопнул журнал и объявил, что на этом переключка окончена и все свободны, а панну Стрельникову в компании директора школы и классного наставника он приглашает побеседовать приватно на отвлеченные темы.

Для бесед был выбран почему-то не директорский кабинет, как логично предположила сперва Варвара. Она уже было свернула от лестницы направо, туда, где в тупике коридора, за пыльным фикусом, обреталась дверь в Ростиковы апартаменты, – за частые визиты она выучила эту дорогу досконально, могла бы из любого помещения школы с закрытыми глазами пройти и ни разу не споткнулась. Но тут инспектор – это Варвара его так окрестила, потому что надо как-то называть человека, если имени его не знаешь, а он сам рассказывать не торопится – тут он ухватил ее за плечо и заставил повернуть направо. Варвара фыркнула, высвобождаясь, за ее спиной восхищенно вздохнул добрый десяток тайных наблюдателей. Нечего тут лапы распускать! К тому же, и она не под конвоем... в возмущении Варвара не заметила, как кончился коридор и она оказалась перед белой дверью школьного медпункта.

Вот тут ей по-настоящему стало страшно. И в голову полезла всякая чушь. Про врачей-убийц и учителей-маньяков. Наверное, это было бы смешно, во всяком случае, Варвара с удовольствием посмеялась бы, расскажи ей кто-нибудь такое. Но тут колени ослабли, а во рту стало сухо и гадко.

– Вы проходите, проходите, – посоветовал инспектор и приглашающе подтолкнул Варвару между лопаток. Она переступила порог, и тут он обернулся и, оглядывая совершенно пустой коридор, сообщил ледяным голосом:

– Кто будет подслушивать у дверей, отправится вслед за Стрельниковой. Я предупредил.

Похожий на мокрого воробья маленький человечек поднялся из-за застеленного белой клеенкой стола. Инспектор улыбнулся ему широко и радостно, как давнему знакомцу.

– Вот, пан Квятковский, извольте полюбопытствовать. Обнаружил во вверенном вам учреждении. А вы говорите – ничего нет. Как же нет, когда есть! Присаживайтесь, барышня, – он указал Варваре на кушетку.

Скользкая клеенка противно холодила голые ноги. Варвара незаметно отступила от кушетки подальше. Почему-то ей казалось, что если она не сядет, как ей велели, то ничего страшного с ней не случится. Видимо, Ростик, подпиравший дверь, думал так же, потому что ободряюще улыбнулся Варваре и даже подмигнул.

– Пускай панна подойдет, – велел фельдшер.

И она пошла. Дура, пошла, как привязанная, не в силах противиться чужому голосу, чужой воле, ощущая себя бабочкой на булавке, шла и смотрела, как в окне кабинетика, до половины покрашенном белой краской, колышется молодая тополевая листва, пересыпанная солнечными бликами.

– Стрельникова Варвара Александровна, полных лет пятнадцать, безнадзорная, на учете не состоит... – фельдшер читал из серой картонной папки, а рукой держал Варвару за запястье, наклонив голову, прислушивался к пульсу, – за медицинской помощью не обращалась, жалоб и сигналов тоже не поступало. Пан Кравиц, а вы уверены, что не ошибаетесь?

– Это я у вас хочу спросить.

– Но вы же сами...

– Сам я только что видел, как стараниями этой барышни выстрелил в руках у преподавателя военной подготовки учебный карабин, к тому же не заряженный. И потом, определять – это ваша работа, вам за это жалование платят, любезный. Мои обязанности – пресекать. Или вы забыли?

Глаза у Ростика, со стоическим видом выслушивающего всю эту ахиною, были совершенно безумными. И Варвара вдруг поняла, что пан директор за нее не заступится, если что. Просто не сможет. Это все равно, что пытаться ложкой вычерпать воду из тонущего корабля.

– И после этого вы будете утверждать, что в Ликсне тишина и спокойствие?! Любуйтесь!

– Панове, что здесь происходит?

– А вас никто не спрашивает!

– Позвольте!

– Не позволю, – Кравиц обернулся к директору, и Варваре стало не по себе. Ничего человеческого не было в этом лице. – Не вашего ума это дело. Не лезьте, стойте и молчите.

– Вы что же, – подал сдавленный голос фельдшер, – вы хотите сказать, что она нава?

– Нет! – отрезал Кравиц.

Потом, сколько ни пыталась, Варвара никак не могла вспомнить, что с ней произошло. Помнила только вспышку бело-зеленого света, и как шархнул Ростик, уступая ей дорогу; она не вписалась в дверной проем, толкнула директора; упали, беспомощно звякнули на кафельном полу Ростиковы очки... Варвара выломилась из кабинетика, не видя перед собой ничего, и пришла в себя только на мостках, в лесу. Коричневые струи воды медленно перекачивались на гладких камнях, голубые и зеленые стрекозы неподвижно висели над зарослями стрелолиста у берегов. Над головой шумели, колыхались сосны, солнце сеялось сквозь полупрозрачную молодую листву берез и осинника. Из лесной чащобы тянуло черемуховым холодом.

Я дома, внезапно поняла Варвара. И закрыла глаза. Тишина и покой, не перемежаемые даже пением птиц, обнимали ее, как облако, как туман над осенними плавнями.

Чужой взгляд лежал на лице, будто касался щек прохладными ладонями, медленно вбирал в себя ее всю, пил – как древесный сок.

Варвара очнулась.

Из глубины потока глядело на нее незнакомое, чужое женское лицо. Варвара узнала этот взгляд – так лес много месяцев подряд всматривался в нее, изучал, ожидал... вот, дождался.

Она швырнула в воду учебником – первым, что попало под руку. Взлетели брызги, стеклянная поверхность ручья разбилась тысячью изображений, поднялся со дна песок, прутики, мелкий водяной мусор. Книжка поплыла по течению, шевеля под ветром распахнутыми страницами, которые медленно набрякали водой. Варвара отвернулась. Посидела еще несколько минут, упихала в рюкзачок остатки школьного имущества и поднялась.

Наивная, она думала, что все закончилось с этой ее выходкой. А ничего никуда не девалось. И лес по-прежнему смотрел ей в спину, только теперь, в отличие от прежних времен, Варвара знала, какое у него лицо.

...Она заснула на этой поляне, заснула, сама не помня как, и лес присвоил ее, оплел повиликой руки, пророс молодой травой сквозь легкие, сделал частью себя, и Варвара знала, чьи глаза глянут на нее из зеркала, когда утром она встанет заплести косу.

Воробы орала и ожесточенно дрались в черемуховых зарослях, закутанный в облако юной листвы куст ходил ходуном, и на траву, на яркие пятна одуванчиков, сыпалась прошлогодняя труха и летели мелкие серые перья. Анджей сидел на лавочке перед больничным крыльцом и курил, полузакрыв глаза. От яростного птичьего гама закладывало уши. Зато здесь, на солнышке, хотя бы не было так тошно.

Идиотизм ситуации заключался в том, что после всего, случившегося в школе, он вдруг ощутил настоятельную необходимость уехать из Ликсны. Не то чтобы – куда глаза глядят, все-таки он не трусливый мальчишка, но там, в школьных коридорах, глядя сквозь плохо вымытые окна на подступающую почти вплотную синюю стену леса, он ощутил внезапный и острый страх. Не тот липкий ужас, который он испытывал попервой, сталкиваясь с нежитью... этот страх был сродни плетке, бьющей наотмашь и побуждающей что-то делать.

Книги. Архивы. Хранилище Нидской библиотеки. Зарыться в вековую пыль, до жжения под веками и нестерпимо ноющих плеч, не спать ночами, мять пальцами горячий свечной воск – есть книги, которые можно прочесть только при свете свечи, а есть и такие, для которых годятся лишь чадающие сальные плоски... и однажды, в дождливое серое утро, все ответы на все вопросы, которые он только будет в состоянии себе задать, выстроятся перед ним стройными рядами. И тайное станет явным, и он поймет, с чем столкнулся в этой чертовой Ликсне, и что в действительности скрывается в глазах этой рыжей девочки с неуклюжим именем Варвара.

– Пан Кравиц! – Квятковский, высунувшись из окна по пояс, окликнул его. Помахал для пущей убедительности рукой. – Идите сюда, пан Кравиц, я вам чего скажу.

Анджей нехотя поднялся с насиженного места. Все-таки его здорово разморило на весеннем солнышке.

– Ну?

– А поезда на Крево отменили, – сообщил Квятковский. Голос его звучал виновато – так, как если бы пан Казимир лично был повинен в произволе железнодорожного начальства.

Анджей пересек заросшую молодыми сорняками клумбу под больничными окнами и присел на подоконник. Колупнул ногтем свежевыкрашенные доски. Если учитывать все транспортные проблемы, которые он успел прочувствовать на собственной шкуре за время своего недолгого пребывания в этом холерном городишке, было бы даже удивительно, если бы станция работала как часы.

– Автобусы? – спросил кратко.

Квятковский скорбно покачал головой и зачем-то протянул Анджею разломаченный комок серых бумажных лент.

– Это что?

– А вот... телефонограмма. Половодье, видите ли, пан Кравиц, ну и железку затопило, и на тракте, который на столицу – тут, догадался Анджей, разумелся центр округа город Омель, через который шла дорога на Крево, – на тракте тоже вода стоит.

– И делать что?

Кравиц помялся, глотнул из аптекарской мензурки холодного чаю и предположил:

– Можно на лодке до Толочина, а там уже не так топко, может и автобусы ходят.

– А лодка у вас есть?

Сейчас он скажет, что нету, подумал Анджей с тоскливой досадой, и что я тогда буду делать? Этого идиота даже в профессиональной несостоятельности по такому поводу не обвинишь: ну не обязан житель сухопутного поселка иметь лодку на приколе.

– Лодку можно у пана Родина попросить, – сказал Квятковский неуверенно. – Он не жадный, он даст, а казенную моторку нипочем не выбить, даже вам, несмотря на должность. А вы насовсем уехать собираетесь или только на время?

Было б хорошо, ежели б насовсем, подумалось Анджею. Но что-то подсказывало ему, что так просто он от этой истории не отделается.

На подоконнике лежал, свешиваясь вниз тяжкими, похожими на капустные кочаны, бутонами букет пионов. Цветы срезали совсем недавно, на розовых лепестках еще не просохли капли воды, и газета, которую владелец букета использовал вместо обертки, тоже была мокрой, типографская краска расплывалась сине-черными пятнами. Несмотря на пятна, Анджей разглядел: газета недельной давности. Так что зря он надеется свежие новости таким образом разузнать. Уж лучше заставить Квятковского репродуктор в больничке починить.

Господи, как они живут в этой глуши? Это же с ума можно сойти от скуки и неизвестности! А, с другой стороны, зачем им столичные новости? Картошка на огородах от этого лучше расти не будет, и ведьмы молоко в дозволенные дни сквашивать не перестанут тоже.

– Есть кто дома? – перегнувшись через подоконник внутрь, громко спросил Кравиц. Глухая тишина, перемежаемая хриплым тиканьем стенных часов, была ему ответом.

– А вы с крыльца постучите, – посоветовал умный Квятковский, знаток местных обычаев. Анджей заглянул через невысокий штакетник, обозрел залитые водой грядки и предложил пану штатному венатору самому претворять свои советы в жизнь.

Яблонева цветень осыпалась на воду, лепестки плыли, закручиваясь в мелких водоворотиках.

Вода спадет, надо полагать, самое малое недели через полторы. А до тех пор он будет заперт в этой дыре. В местной гостиничке – скромненько, зато чистенько! но только ощущение, что после ночевки на пружинистой продавленной кровати в спину будто вставили кол, никак не проходит. И одному только Богу известно, что может случиться в его отсутствие в обеих столицах.

– Как вы думаете, где они все могут быть? – спросил Кравиц.

Квятковский потиснул острыми плечиками, зачем-то глянул из-под ладони на бьющее свкозь тополевые ветки солнце.

– Так в школе же, – заявил он. – Белый день, самые занятия.

Улица круто уходила вниз. По брусчатке, звеня и булькая, сбегали мутные ручьи, чтобы потом превратиться в такие же мутные реки и добавить половодью размаха и шири. Крутились в потоке сорванные грозой ветки, клочья травы, прочий мусор. Деловито жарило солнце. От него можно было спрятаться только в узенькую полоску тени: улица лежала в овраге, и правый склон густо зарос кустами вперемешку с крапивой.

Именно из этих непролазных зарослей они с Квятковским и вывалились, вызвав истошные визги девиц и замешательство их преподавательницы.

– Спокойно, барышни! – велел Анджей, окончательно выдрался из кустов и присел на высокий поребрик, вытряхивая из сандалет камешки и отдирая репы от некогда наглаженных брюк.

Зрелище было еще то. Девушки взирали с трепетом: история о вчерашней стрельбе в кабинете военной подготовки и последовавшем за этим допросе, похоже, наделала шуму.

– По-моему, мы ошиблись, – задумчиво заявил Анджей, тем временем беззастенчиво разглядывая единственного в нежной девичьей компании молодого человека – на вид лет пят-

надцати, смутно знакомого по вчерашним событиям. Фамилия у него еще такая простая... Родин, кажется. Он что, родственник искомому владельцу моторки? Если Анджей ничего не путает, то сейчас и моторка найдется, и пан Ярослав.

Но куда интереснее молодого человека оказалась училка – Анджей вытаращился на нее, забыв обо всех приличиях. И только страницы Уложения о мерах допустимого зла привычно развертывались перед внутренним взглядом. Сколько он помнил выдрессированной, как цепной пес, памятью, статьей о профессиональных ограничениях особам вроде этой категорически запрещалась медицинская практика в любом ее виде, фармацевтика, швейное дело и преподавательская деятельность, в приложении к несовершеннолетним – особенно.

Квятковскому мало голову оторвать, если допустил такое. Или он не знал? А что он тогда вообще знал?!

На какое-то мгновение у Анджея мелькнула мысль, что все эти события, незначительные, мелкие, нанизывающиеся одно на другое, точно рябиновые бусины, происходят с ним только затем, чтобы отвлечь от главного.

– Действительно, панове, вы ошиблись, – подтвердила преподавательница и, видя замешательство на их лицах, вежливо хмыкнула, прикрыв узкой ладонью некрасивый бледный рот. – Здесь урок.

Анджей с сомнением оглянулся на затравелые склоны оврага, покивал, глядя, как перехлестывают через заборы яблонева кипень и гроздь сирени. Вообще, лучше было глядеть куда угодно, только не в лицо этой особе – Анджей по опыту знал, что такие, как она, способны соорудить повод для оскорбления из самого невинного пустяка. А ему сейчас не до скандалов.

– А панны Стрельниковой здесь нет, – вклинился в разговор давешний молодой человек. И прибавил нахально, что вообще-то у них не урок, а так, факультатив по литературе, превращенный стараниями начитанного и культурного Ростика в добровольно-принудительное мероприятие, чем некоторые особенно умные и воспользовались. Но сидеть в такую жару в классе не больно приятно, поэтому общественность настояла, и занятие решили устроить на природе. А пани Катажина – это, стало быть, училка – не возражала.

Попробовала бы она возражать, подумалось Анджею. У него вообще складывалось впечатление, будто она их боится. Хотя такие, как она, обыкновенно, не боятся ничего и никого.

– Я могу чем-то помочь? – наконец спросила она.

– А мы, собственно, пана Родина ищем, – высунулся из-за спины высокого начальства малахольный Казик. – Нам в учительской сказали, что он сюда пошел, к вам. Что у него к вам дело.

Анджей стоял и молчал, как последний дурак, и глядел в ее узкое очень бледное лицо, на котором только глаза и проступали – темными воронками, расплавленным янтарем. Он наконец вспомнил, откуда ему знакома эта самая панна.

Почти десять лет назад, пожар в Нидской Опере, черные хлопья сажи, летящие в ноябрьскую слякоть. Тлеющий углями остов здания, похожий на скелет реликтового ящера. Воздух, которым невозможно дышать. Только трупов около полусотни, а сколько народу обгорело, никто и не считал толком, самых тяжелых с завыванием сирен увозили в ночь кареты скорой помощи.

Худшего начала карьеры и врагу едва ли пожелаешь. Самое страшное, что он точно знал, кто во всем виноват.

Только тогда у него не было никаких доказательств.

Или он ошибается?

Небо опрокинулось над головами ясной синевой. Без единого облачка. Ветер нес над крышами домов синеватый дым весенних костров. Глухо и далеко шумел порт, и над колоннами элеватора с гвалтом носилась дружная стая голубей и речных чаек. Сине-серые стены

будто таяли в солнечном мареве, и, спроси кто-нибудь у Анджея в эту минуту, а существует ли эта громадина на самом деле, он бы трижды усомнился, прежде чем ответить.

Повторяя их с Квятковским недавние подвиги, пан Родин вывалился из кустов и плюхнулся рядом с Казиком на поребрик. Неизвестным науке образом пребывание в диких зарослях никоим образом не отразилось ни на лице Яра, ни на одежде. Был он хорош собой, в наглаженных штанах и белой рубашке, с давешним венком пионов в руках. Кавалер на свидании. Анджей задумчиво поскреб подбородок: провинциальные гостиницы не лучшим образом влияют и на внешний вид человека, и на внутренний мир. Интересно, какие у Родина с пани Катажиной отношения? Судя по пионам, едва ли деловые.

– Здравстье, дети, – сказал Яр и отшвырнул в ручей содранную со штанов колючку. Девушки расступились, Яр узрел Катажину в компании Анджея и разом перестал улыбаться. Как будто гадюку увидел.

– Ярослав Сергеевич, – светским голосом заявил Анджей. – Не будете ли вы столь любезны одолжить нам вашу лодку?

– А если не буду?

Анджей скучно пожал плечами.

– Тогда мне придется арестовать вас за нежелание содействовать властям. Саботаж называется. Слыхали?

Яр поднялся. Помолчал, перекатывая желваки на щеках.

– Слыхал. Пойдемте.

Анджей вежливо кивнул барышням и Ярову племяннику, а Катажине особо:

– Счастливо оставаться, граждане. А вас, ясная пани, я ожидаю увидеть в канцелярии у пана Квятковского так скоро, как только возможно. Лучше, если сегодня до обеда, чтобы и я смог принять участие в вашей милой беседе.

– Зараза! – емко высказался Яр.

В сараюшке было темно, но солнце пробивалось сквозь щелястые стены, пылинки и сенная труха танцевали в длинных лучах. Света было вполне достаточно, чтобы разглядеть располосованный бок надувной лодки. Виновник этого безобразия сидел тут же, лениво вылизывая полосатую заднюю ногу, и на хозяина чихать хотел. С досады Яр пнул кота, и тот с воплем сгинул в захлавленных недрах.

Анджей слушал их возню, сидя у сарая на завалинке и подставив солнцу лицо, и все пытался понять, кому же так нужно, чтобы он никуда не мог из Ликсны уехать. Кому он здесь позарез необходим, при том, что очень многие проживающие в этой дыре граждане готовы душу прозакладывать, только чтоб он провалился сквозь землю.

И еще это половодье! Да он душу продать готов, если у этого буйства стихии исключительно натуральные причины. Он профессионал, он просто шкурой чувствует: не может быть такого. Ну в природе не бывает! Вот только если бы он еще так же профессионально мог сказать, кому под силу устроить подобный катаклизм. Потому что, если опираться на официальные источники, таких сил, как, собственно, и этого явления, просто не существует в этом мире. Грозу еще там накликают, или засуху... но чтобы вот так?!

Пятясь задом и отчаянно матерясь, Яр выволок из сарая древний долбленный челн. Такие Анджей видал только во всякого рода заштатных краеведческих музеях и никогда и помыслить не мог, что придется на них плавать. Если верить местному диалекту, челн назывался «душегубка». Вполне символически.

– Вот, – сказал Яр с вызовом, прищурился серым глазом. – Это к вопросу о саботаже. Не боитесь?

– А есть выбор?

– Вам видней.

– Тогда плывем.

Вербы стояли в воде, все в золотом ореоле цветущих «котиков», и сладкий запах разносился вокруг, кружил голову. Хотелось лечь и закрыть глаза, и чувствовать, как проплывают по лицу легкие тени, и иногда взглядывать сквозь неплотно смеженные веки на высокое, такое яркое небо. Челн, лавируя меж стволами деревьев, покачивался на мелкой волне, Яр греб уверенно и сильно, будто всю жизнь только этим и занимался и ни о какой военной подготовке знать не знал.

Городские окраины скоро остались позади, ивовые заросли тоже, и глазам вдруг открылась широкая гладь разлившейся половодьем реки. Далеко на другом берегу, на горушке, белел колокольнями и горел на солнце крестами костел, смотрелся с обрыва в реку выстроенный в классическом стиле Ликсненский дворец – белые колонны портика, квадратная приземистая башня с круглыми часами в верхнем ярусе, витражные галереи, соединяющие два флигеля с центральным строением.

– Красиво, – вздохнул Анджей.

Яр кивнул.

– Красиво. Только без хозяйского пригляда это великолепие скоро накроется медным тазом. С тех пор, как тамошнего князя, мерзавца высокородного, навыв заживо с собой забрали... Витовт Пасюкевич – это он самый, хозяин всех этих красот. Даже и не скажешь «покойный». Собственно говоря, вы все это лучше меня знать должны.

– А вы-то сами откуда такими сведениями располагаете?

– Я историк по образованию. Хотя и занимаюсь не своим делом.

– Понятно, – сказал Анджей только затем, чтоб не молчать. На историка пан Родин был похож примерно так же, как он сам – на прима-балерину императорского театра. Хотя про театр, пожалуй, не стоит...

Они почти подплыли к опорам моста через Исlochь. Лестница, ведущая с берега вверх, на мост, была затоплена почти до половины, на последних ступеньках пристроились с удочками несколько мальчишек с той, деревенской, стороны. Что они рассчитывали тут поймать – одному богу известно. Почти у самого моста, тоже в воде, стояла старая телефонная будка – черный эбонитовый аппарат на столбе под козырьком с облупившейся краской, пучок вырванных проводов торчал наружу, заранее сообщая всякому любителю переговоров о невозможности таковых. К этому-то столбу и была пришвартована лодка. В лодке стояла рыжеволосая девица и, прижав телефонную трубку острым плечом, внимательно слушала. Судя по ее лицу, с ней действительно разговаривали.

– Надо же, – только и присвистнул Анджей. – Стрельникова. Эй, панна Барбара!

– Заткнитесь немедленно, – велел Яр.

Кравиц слабо понимал, почему именно девицу беспокоить не следует, но за долгие годы карьеры собственной интуиции привык доверять. А сейчас эта самая интуиция вопила, как потерпевшая.

У него возникло вдруг стойкое подозрение, что эти двое как-то связаны между собой, причем отношения их далеки от привычного сценария «учитель и ученица», даже если учесть тот смысл, который привыкли вкладывать в эти слова разного рода педагогические тетки и костельные ханжи.

– А если не заткнушь? – поинтересовался Кравиц, глядя на Яра снизу вверх из-под ладони, потому что солнце било в лицо, мешая смотреть. Перед глазами крутились черно-зеленые пятна, и собеседника было не разглядеть.

– У меня, знаете ли, к вашей Стрельниковой интерес. Не пугайтесь, профессиональный. Я бы ее в столицу забрал, она барышня талантливая, а позаботиться о ней некому. Я так слышал, она почти сирота. А вы, как я погляжу, несмотря на вселенское сочувствие, удочерить ее пока не спешите. Или у вас на эту панну какие-то иные планы?

Произнося всю эту ахинею – с расслабленной ленцой столичного хлыща, – Анджей рассчитывал на совершенно однозначную реакцию. Кравиц, в наивности своей, полагал, что вслед за вопросом Яр вполне резонно двинет ему в морду, он ответит, после чего пан преподаватель военной подготовки и ногами накроется, куда ему до профессионалов. А того недолгого времени, пока Яр будет находиться без сознания, Анджею вполне хватит, чтобы выяснить об этом человеке все, что нужно.

Он даже не успел понять, что ошибся. Яр приподнялся со дна лодки, неуловимо быстрым движением перехватил короткое весло, качнулся, пружиня ногами...

Анджей широко взмахнул руками и упал в реку – навзничь, ледяная горько пахнущая вода сомкнулась над ним, стремительно утрачивая коричневато-зеленый цвет, заплывая красным. Истошно закричала где-то очень далеко Варвара.

Он лежал у самой кромки воды, ничком, неловко вывернув голову, во рту стоял мерзкий вкус железа и соли, песок хрустел на зубах и мешал дышать. Острый осколок речной ракушки небольно врезался в щеку – или он просто не чувствовал? потому что по сравнению с той болью, которая была разлита во всем теле, всякая другая казалась смешной и ненастоящей.

Мелкие волны набегали и откатывались, полоскались в потоке длинные ивовые ветки, темные веретенца мальков недвижно висели в прозрачной толще коричневатой речной воды. Потом метнулись быстрой стайкой, вода замутилась от шагов, исчезло белое, покрытое крошечными дюнами речное дно.

– Вам лучше? Пан Кравиц, вы меня слышите? Вы можете говорить? Ну хотя бы рукой шевельните...

Чувствуя, как все обрывается внутри, скручивается в тугой комок и от боли тошнит и темнеет в глазах, он заставил себя перекатиться на спину. На песке, там, где только что была его голова, остались темные пятна.

Варвара Стрельникова, непонятная, не известная науке ведьма, а точнее, даже не ведьма, а черт знает что! – сидела перед ним, поджав под себя ноги. Ветер трепал волосы, и она отводила их от лица ладонью. Анджей смотрел на ее руки – тонкие запястья, ладони в царапинах, острые локти, – на отливающие рыжиной под солнцем пряди волос. Кто сказал, что эта девочка некрасива?

– Бася?.. А... мы где?

– Это Хортиц, – объяснила Варвара. – Такой остров посредине реки. Я бы до другого берега не доплыла, там стремнина, мне с веслами не управиться. А в лодке вам разве поможешь?

– А... что случилось?

Она поежилась. Взлетели под тонким ситцевым платьем худые лопатки, и веснушки, которыми было обсыпано ее лицо, стали еще бледнее.

– Вы повздорили с паном Родиным, и он... в общем, дал вам веслом по голове. У вас опять кровь.

Анджей с усилием поднял руку – она была тяжелая и будто чужая, – осторожно коснулся затылка. Занемевшие пальцы не ощутили ничего, но когда он вновь поднес руку к глазам, на ладони остались липкие и отвратительно яркие под солнцем красные пятна.

– Я сейчас, – сказала Варвара и покраснев, потребовала, чтобы он отвернулся или закрыл глаза, если ему очень больно шевелиться.

Анджей послушно смежил веки. Послышалась возня, шуршание песка, затрещала разрываемая материя, потом донесся плеск волны. На лицо лег мокрый лоскут, пахнувший речной водой. Варвара села рядом, старательно натягивая на колени короткий, неровно оборванный подол платья.

– Прижмите покрепче, чтоб кровь унялась.

Анджей слизнул протекшую к углу рта теплую и солоноватую на вкус каплю.

Никогда и нигде за всю свою карьеру он не слышал ничего подобного. Чтобы ведьма, нава, подследственная, венаторам раны перевязывала?! Не бывает!

Никто из них никогда его не жалел. Как и собратьев по профессии. Наоборот – бывало, и сколько угодно. Чего стоит светило Шеневальдской инквизиции герр Штейнер с его знаменитым трактатом «Об истоках и истине навьей сути». Да они его в Нидской академии наизусть главами заучивали, и не столько пользы для и из любви к чистому знанию, сколько из-за красот стиля. «О сударыни мои святые, Екатерина и Маргарита!.. Почему вы не смотрите на меня, почему вы оставили меня?..» И это после завершения процесса, когда в подследственной не то что женщину – живую душу разглядеть сложно. Человек, которому предмет исследований равнодушен, никогда так не скажет. Тем более, о наве.

Но, с другой стороны, и Варвара – не нава.

Не болотница. Не мавка. Понять бы, кто – и жить стало бы легче.

Он перехватил у своего лица ее руку, тянущуюся, чтобы вновь намочить лоскут.

– Бася, скажите мне. Только честно. Вы кто?

Тонкие светлые бровки недоуменно шевельнулись, ярче проступили на скулах веснушки. Дрогнул в неуверенной улыбке мягкий розовый рот.

– Вам, наверное, солнцем голову напекло. И вообще, возвращаться надо. Вы до лодки дойти сможете?

Господи, подумал Анджей. Мне бы просто подняться. Какая потрясающая сволочь этот Родин.

– Давайте, я вам помогу. Опирайтесь на меня, вы не думайте, я сильная. Бабка, бывает, на огороде наломается, ну и падает, а я ее найду и домой тяну... или мамку... Вот так... вставайте...

Он не помнил, как дошел до лодки, и как они оказались на середине реки – не помнил тоже. Ничего не осталось в памяти.

Глава 3

Омель, Судува
Май 1947 г.

Солнце медленно уваливалось в тучу, и края у нее были золотые. А из серо-синего подбрюшья били широкие длинные лучи, и в том месте, где они падали на воду, пространство реки делалось стальным и пугающим. И ветер пах близким дождем.

Наверное, Варвара задремала на веслах, или время как-то неуловимо сместилось – в этой холерной Ликсне со временем творилось вообще не пойми что, – но когда Анджей открыл глаза, вдруг оказалось, что лодку вынесло на середину реки. Только течения, как он представлял себе, здесь почему-то не было.

Он опустил ладонь в воду. Медленные тягучие струи заскользили меж пальцев.

Варвара шевельнула веслом. Взлетели брызги. Анджей облизнул с губ холодную каплю. Вода была соленой, а запах ее отдавал железом. Так бывает, когда ночью кровь идет горлом, и ты не просыпаешься, и глотаешь ее, а утром приходишь в себя – и этот вкус во рту. Даже не крови, нет. Неотвратимой потери, и ты еще не знаешь, какой именно, и это хуже всего.

– Бася?

– Помогайте мне! Ну?!

Она работала веслами, как одержимая, но нужный им берег упрямо не желал приближаться. Зато тот, другой, с белоколонным дворцом и колокольней на горшке, наоборот, будто магнитом тянул к себе лодку с двумя смешными букашками в ней. Анджей ощущал себя стальной стружкой. Как ни маши веслами, никуда не денешься.

Варвара, запыхавшись, уронила руки. Весла повисли в уключинах. Соленые струи воды пели у бортов, перетекали одна в другую, точно расплавленное стекло. Далеко над поплавами расколола светлое еще небо первая молния.

– Ничего страшного, – нарочито бодрым голосом сказал Анджей. – Если гроза надолго, заночуем во дворце. А утром как-нибудь... По-моему, твоя бабушка переживать особенно не станет. Или ты меня боишься?

– Дурак, – сказала с чувством Варвара и отчаянно, мучительно покраснела.

До дворца добрались совсем в сумерках. В узких аллеях старого парка уже стояла глухая влажная тьма. Ступи шаг с посыпанной гравием дорожки – и ночной сумрак обнимет за плечи, плеснет в лицо запахами мокрой земли и зелени, опашнет щеку птичим крылом, черемуховым холодом, близким дождем... здесь был почти лес. Но небо еще светлело сквозь путаницу крон, изредка опалемое сине-золотыми зарницами.

Первые капли дождя ударили в землю, когда Варвара с Анджеем были уже на крыльце. Брызнули и свернулись в слежавшейся у порога пыли тугими каплями. А потом сразу – стена дождя. Такая, что и лиц друг друга не разглядеть.

Не слушая путаных возражений Варвары, Анджей ударом ноги распахнул неожиданно легко подавшающую парадную дверь и втолкнул слабо отбивающуюся паненку внутрь, в пахнущее пылью и нежитьем пространство.

Порыв ветра захлопнул за их спинами тяжеленные створки. Раскатисто и гулко обрушился снаружи на парк, на гонтовые звонкие крыши и кроны деревьев громовой удар. Такой силы, что даже будучи за стенами, они услышали, как гудят на колокольне далекого кляштора колокола.

– Бася? У вас спички есть?

В огромном пространстве пустой и темной залы ему казалось, что Варвара где-то далеко, и когда он услышал почти у самого лица ее дыхание, ему вдруг сделалось отчаянно неловко и страшно. Как будто это порог, граница, которую ни в коем случае нельзя переступить. Потому что дальше – даже не пустота и неизвестность... совсем другая жазнь. Или не жизнь.

– Вот. – В локоть ткнулся углом картонный коробок. Внутри с сухим стуком перекатывалось несколько спичек. Небогато... но ладно.

Желтый рваный огонек очертил скупой круг света. Тени шарахнулись по углам. Две – или Анджею показалось, что больше? Широкая, плавным изгибом спускающаяся лестница, витражное окно в пролете... за синими и алыми стеклами сплошная стена дождя, беснуются под ветром тополевы кроны. Ветер несет в отворенную створку капли воды, сорванные листья.

– Давайте наверх, – решил Анджей. – Рехнуться от этой мистики можно. А там камин наверняка есть. Замерзли?

Варвара неуверенно передернула под тоненьким платишком плечами. Все-таки они успели промокнуть, а еще до того обгорели на солнце, и теперь озноб полз по рукам, по спине, заставляя стремиться к теплу живого огня.

И еще... ему показалось? кто-то заглядывал в окна, прикинул к самым рамам. Следил, как они поднимаются по лестнице, почти наощупь, потому что спичка догорела до самого конца, обжегши Анджею пальцы, а вторую спичку зажигать было нельзя, иначе нечем было бы разжечь камин. Анджей, правда, слабо понимал, чем они будут этот камин топить, но искренне надеялся, что в заброшенном дворце найдется хоть что-нибудь. Старая мебель, книги... конечно, пускать книги на растопку грех, но что делать.

Потом Варвара нашла в комодке свечи.

Оставив Анджея возиться с камином, она побрела по комнатам. Синевато-зеленый сумрак, наполняющий их, был похож на застоявшуюся воду. От него лица изображенных на портретах людей делались почти живыми, и Варваре казалось, они следят за каждым ее шагом. Дождь стучал в мутные от старости стекла, гнулись под ветром ветви вековых ив и тополей, окружающих галерею. Варвара вдруг поняла, что если прислушаться, в реве дождя можно различить конское ржание и перезвон сбруи.

Когда-то полоумная Варварина бабка, решив, очевидно, что дни ее сочтены, решила вдруг поверить внучке семейные тайны. На взгляд Варвары, никаких тайн там не было – бред безумной старухи, которая, к тому же, изрядно приложила к графинчику домашней наливки. Да и не нужны ей эти тайны сто лет были! Жила она без них счастливо и дальше бы прожила. Так нет же!

Тогда как раз и вечер выдался такой же мрачный. Слепой осенний дождь заливал окна, а они сидели, прижавшись плечами, перед распахнутой грубкой. Бабка яростно шерудила в углях кочергой, отчего искры сыпались малиновыми водопадами, и говорила, говорила...

В час, когда небо полыхает лиловым и золотым, и ветер гнет до земли деревья, четыре всадника Гонитвы придут за тобой – Наглис, Васарис, Саулюс и Грудис. Не спрятаться от них и не спастись, и даже самые крепкие стены не будут защитой, и ни грехи твои им не надобны, ни добрые дела. Настигнут четверо на вороных и серых конях, – как ночь и как рассвет.

И пятый всадник, Ужиный Король, Гивойтос – придет за ними и возьмет твою душу...

Наивная дурочка, она-то думала, что это бабкины сказки. Из тех, тщательно сберегаемых, почитаемых за чудо, таких, которые можно рассказать только своим – или передать младшему в роду по наследству... как ведьмы перед смертью передают свою колдовскую силу, а потом приходит черт и забирает с собой их душу. А оказывается, и черта никакого нет, а есть только вот эти четверо, и Ужиный Король, и душа ее не нужна никому, но разве он об этом спросит?..

Чужие лица заглядывали в витражные окна галереи. Конские гривы липли к стеклам, струились в потоках дождя, похожие на водоросли и плети старых верб.

...В невозможно далекой Лишкяве, в сером, как брошенный на землю плащ-велеис море Дзинтарис в Янову ночь поднимается из волн янтарный дворец, и девочка с зелеными глазами сидит на пороге, пересыпает в руках янтари. Ждет. Эгле королева ужсей. Почему Варваре кажется, что у этой девочки ее лицо?

Где-то в конце галереи стукнула оконная створка, зазвенело разбиваемое стекло.

Не может быть, чтобы в этом огромном доме, который и люди-то, кажется, покинули совсем недавно, не осталось ну хотя бы свечного огарка!

Варвара бежала по галерее, вытянув перед собой руки, ничего не видя, ослепнув от близких грозových вспышек. И те, за окнами, следовали за ней, вились костровым дымом, и это было как во сне, когда нет сил очнуться, сбросить с себя наваждение...

Потом она оказалась в тесной комнатке с единственным окном. В перекрестье рам запуталась бело-зеленая переливчатая звезда. Ветер вздувал занавеску. Дождь, утихая, сонно стучал по жестяному карнизу. Пахло пылью и растопленным воском.

Варвара задыхаясь, присела на узкую кровать у стены. Повела рукой. Глаза понемногу привыкали к темноте. Два кресла друг напротив друга, приземистый, с покоробленной от времени перламутровой мозаикой на панелях выдвижных ящиков комод. В одном из ящиков нашлись свечи. Много. Варвара рассеянно гладила кончиками пальцев маслянистый, прохладный воск. А спички у Анджея, вот жалость.

Свечи были толстые, в руках умещалось с полдюжины. А ей почему-то казалось, что нужно как можно больше, чтобы в той зале с камином, в которой устроился Анджей, сделалось светло, как днем. Тогда эти, за окнами, не посмеют даже сунуться. Варвара нагребла свечей, сколько могла, в короткий подол платья и так, осторожно, почти наощупь, побрела назад, искренне надеясь, что не заплутала в переходах и сможет найти дорогу обратно.

...Это было платье!.. Хотелось замереть, перестав даже дышать, и погрузить лицо в расшитые серебряными нитями складки длинной льющейся сукни, и чувствовать щекой, как проступает в прорезях рукавов и лифа прохладная кисея нижней камизы. У ткани был непонятный и волнующий запах – увядших трав, вереска и полыни, едва слышная нотка тления примешивалась к нему, бредила душу, но это не мешало нисколько. И еще вэлюм – длинный, невесомый, похожий на замерзшую паутинку.

Ни о чем не думая, Варвара свалила свечи тут же, где стояла, на широченную кровать под балдахином, в несколько движений высвободилась из своего платья. Ей казалось, что в одиночку она ни за что не справится с крючками и шнуровками, но старинный строй оказался удобным и простым, как старая рубашка.

Расправляя вэлюм, Варвара нащупала в складках кисеи узкий серебряный обруч, в который были вправлены редкие, но довольно крупные янтарины. Темно-медовые, почти черные от времени, с прозрачными золотыми искрами внутри. Она вдруг поняла, что видит и платье, и венец так ясно, как если бы вокруг стоял белый день, но пугаться было некогда.

Серебро обхватило виски. Будто оборвалась внутри ледяная глыба.

Она пошла – поплыла в лунном луче, сияющий тонкий силуэт – будто слепая, ничего не видя перед собой, не думая ни о чем. Прибой далекого моря бился и звучал в ней, как церковный хорал, и казалось, что ничего невозможного нет.

Двое мужчин в старинных одеждах сидели у стола – друг против друга. Между ними стояли высокие, наполненные черным вином кубки – радужное стекло, забранное в витой серебряный узор оковки. Горела в чудном подсвечнике-домике свеча – золотом брызгало из окошек, вился над трубой дымок, будто печку там топили. Этот смешной дымок точно окутывал мягким облаком, сглаживал, превращал в сказку весь этот морок. Варвара смотрела на странных собеседников, и невозможные мысли теснились в голове, смеялись, скалились...

Одного из них – в генеральском мундире, с эполетами и незнакомыми орденами, с холодным надменным лицом и рысьими глазами – Варвара знала. В основном по портретам в учебниках истории. Князь Витовт Пасюкевич, генерал-губернатор Судувы, убитый в последнем бою Болотной войны без малого полтора века назад. Он сидел в кресле, откинувшись полуседой головой к вытертой бархатной спинке, и мокрый от дождя плащ-велеис был перекинут через подлокотник, струился по медовым плашкам паркета серой волной.

А по другую сторону стола, в белом упланде с меховой опушкой и массивной цепью на груди, сидел Ярослав Сергеевич Родин, Варварин преподаватель начальной военной подготовки, а заодно и дядюшка Артема, который, как подозревала сама Варвара, испытывал к ней гораздо большие, чем обыкновенная дружба, чувства.

– Пейте, пане Витовт, пейте. Не опьянеть, так хоть согреться... гроза. Вы ее видели?

– Вашу замарашку? Анёлы господни, неужели вы, пане Ярославе, думаете, что из этого чучела выйдет толк? Или все равно, лишь бы Капитул не волновался? Так свежую кровь не вдохнешь в сгнившие вены, уж кому знать, как не мне.

Это маскарад, подумала Варвара. Синематограф. Сейчас из темноты, сгустившейся за гранью едва освещенного круга, набегут люди, начнется суета, захлопают полосатой трещоткой: «Камера, снято!» – она однажды видела такое, давно, когда тетка Наталя брала ее с собой в Крево, а там возле Ружанцовой браны снимали фильму... она тогда совсем кроха была, а вот гляди ты, запомнилось... а потом тетка умерла от Поветрия, тогда многие умерли, и говорили, это навывиноваты, и по ночам на улицу выходить боялись, и в конце-концов они с матерью уехали в Ликсну, к бабке, а разноцветный, яркий, прозрачный, как ярмарочный леденец, Крево остался так далеко...

– Замарашку, говорите? Любопытно. Что, и старый Гивойтос так думает?

– А вы, пане Ярославе, у него спросите.

– Рано вы меня за Черту провожаете. Рано. Хотя... этот нахал из столицы уж всяко постарается.

– Кравиц?

Они говорят о нас с Анджеем, вдруг поняла Варвара, и новый ужас поднялся в ней, как озноб. Щекам стало жарко, вспотели ладони.

Если она расскажет обо всем Анджею, он же не поверит. Он и так считает ее блаженной дурочкой, наслушался в лицее и от поселковых клуш всяких сплетен. Он не поверит. И потому не поможет. Он же не знает, от чего и от кого ее надо спасать.

– Между прочим, пане, не я ее выбрал. И не вы. И не нам решать. Так что давайте, допивайте вино и займемся наконец, делом. Кстати, если у вас еще остались сомнения, обернитесь и посмотрите. Пяркунас, да и первая пани Гиватэ не задумалась бы ни на секунду!

Лунный луч падал прямо Варваре на лицо, и она стояла, уронив руки вдоль тела, в этом столбе света, а они смотрели на нее, и удивление проступало в глазах, как талая вода меж сделавшихся прозрачными мартовских льдин.

– Матерь божия, – сдавленным голосом сказал Пасюкевич.

И тогда она побежала.

– Бася! Бася, что с вами?! Очнитесь немедленно!

Анджей тряс ее за плечи, но Варвара упорно не желала открывать глаз. Голова ее, закутанная в кисею старинного убора, моталась как неживая, расплелись пряди высокой и странной прически. Анджей ничего не понимал. Откуда это платье, венец, тяжелые бурштыновые серьги, и низка янтарей на шее?

Задремав в кресле перед камином, под стук дождя и громовые раскаты, Кравиц не видел, как панна Стрельникова ушла бродить по замку. Пламя гудело в трубе уютно и покойно, тени скакали по стенам, странным образом искажая нарисованные на портретах лица, рождая при-

чудливые узоры, от этой круговерти слипались глаза. Мир вокруг казался простым и неопасным, и не хотелось думать, что за гранью освещенного круга может существовать то самое, ради чего он приехал в эту клятую Ликсну.

Ничего и ни с кем не может случиться. И Варвара никуда не денется.

Засыпая, Анджей слышал, как она ходит по комнате, потом уловил скрип отворяющейся двери на лестницу, потянуло сквозняком... он не обратил внимания. Он не ощутил и тени профессионального беспокойства, которое обычно охватывало его в таких случаях – ледяной обруч вокруг лба, мурашки в кончиках пальцев... он был совершенно спокоен, и он заснул.

Потом, проснувшись несколько часов спустя в таком же пустом покое и обнаружив, что гроза утихла и в чернильную тьму за окнами словно капнули молока, наконец осознал весь ужас своей ошибки. А когда Варвара выбежала прямо на него из темного перехода, ослепшая от ужаса, в странном наряде, и вовсе перепугался.

Она была словно во сне, она не узнавала его, не слышала, погруженная в свой кошмар. Даже лицо ее изменилось, стало как будто старше, горестная складка залегла у рта, обострились скулы.

Наверное, в этой ситуации нужно было делать что-то другое. Только Анджей понятия не имел, что именно. Не было у него опыта по части утешения плачущих, не сознающих себя девиц.

Ткань ее платья растворялась под его ладонями. Краем рассудка он понимал, что совершает непоправимое. И никак не мог отделаться от мысли, что за его движениями наблюдают десятки глаз. Заглядывают в слепые окна, щурятся с портретов, смотрят из гудящего в камине пламени. Будто проверяют, все ли совершается так, как должно.

Она текла в его руках, как вода, переменчивая, каждое мгновение другая, и от нее пахло то мокрыми птичьими перьями, то пылью и тленом старинного платья, черемуховый аромат вливался в эту круговерть ледяной тонкой струей, и лицо и руки оттаивали под этим холодом, но странный озноб бежал по спине, сковывал плечи, заставляя не помнить себя – только ее, и когда в последний момент Варвара открыла глаза, он увидел – они зеленые, как море на закате, и понял, что обратной дороги нет. Только вперед, за грань, отделяющую их двоих от живых и умерших, туда, где нет ни ее, ни его самого... так переплавляется в алхимическом тигле горсть стершихся медяков, чтобы через столетия сиять нестерпимым золотом.

– Эгле, – сказал он. – Эгле.



Луг был похож на море, и ветер гнал по траве серо-серебряные волны. Горечь оседала на губах, горек был вкус дыхания. Кони шли широким размашистым шагом, стебли травы пугались в стременах. Впереди был лес, прозрачно-синий в жарком солнечном мареве, прохладный и сумрачный даже издали. Черная точка ястреба неподвижно висела в зените.

Ехали молча, опустив поводья, подставив ветру разгоряченные, занемевшие в постоянном прищуре лица. Каждый думал о своем, но если бы кто спросил, оказалось – мыслей нет вовсе. Только приглушенная усталость. Время лишь приблизилось к полудню, но за утро случилось столько всего, что им казалось – прошла неделя.

...вот они сидят на сухом взгорке среди мачтовых сосен, и вокруг пахнет земляникой, и горячей хвоей, в ладонях багрово-черные от спелости ягоды, и можно не думать о том, что этот простор и счастье сотворены для них двоих чужими руками, непреклонной волей взрослых, пускай даже и родных людей, которые зачем-то решили, что два человека могут быть предназначены друг другу, и это невозможно отменить.

Стах не представлял себе, как это – наступит однажды день, и он назовет Эгле своей женой. Несмотря на то, что прошло уже почти пять лет, как их обручили. Женой – вот эту самую девчонку, с которой только что наперегонки карабкался по затравелому крутому склону, а потом падал в траву, крепко держа Эгле за руку, и небо запрокидывалось над ними, полное быстрых облаков и пушистых сосновых верхушек. А до того они забрались в старый сад заброшенного маентка и там рвали зеленые еще, кислые дички, и похожие на розовые бусины твердые черешни... Сегодня черешни, а завтра он поведет ее под венец?

И даже если он сумеет переступить в себе невидимую черту детской дружбы, что он может ей дать? Какой из него муж? Конечно, он не безродный бродяжка, но в свои неполные

двадцать лет он отлично осведомлен о том, что из всего родового майна после смерти отца удалось сохранить только майорат. Что уж говорить о том, что когда-то под рукой рода Ургале было целое княжество...

А еще его крайне смущало то обстоятельство, что он никогда не видел на шее Эгле креста. Вместо распятия она носила на замшевом инурке оправленный в простое железо кусок дикого янтаря. Стах подглядел, когда они купались в Ислочи. Спрятался в камышах и смотрел, замирая от неловкости и странного чувства, которого не испытывал ни разу в жизни. На узкую спину и худые острые локтики, на рыжеватые тяжелые косы, выступающие ключицы и мерцающий под кружевным сеивом солнца осколок медового камня.

И вот это дитя он должен взять в жены? Ей же Богу, это просто смешно.

– Ешь ягоды, пока не протекли.

Церковь стояла в огороде, как дом. На грядках, разбитых возле самых стен, дружно зеленели перья лука, лезли из земли кружевные веточки укропа, яблоневого дерева, высаженные вдоль ограды, роняли на свежевскопанную землю бело-розовые цветы. Деловито гудели пчелы.

По выложенной вдоль грядок разноцветными плитками узкой дорожке Яр прошел к церковному крыльцу. Присел на некрашеную деревянную скамью возле стены. Нагретый за день камень неспешно отдавал тепло. Сладко пахло яблоневым цветом и влажно – разрытой землей. Эти два запаха, смешиваясь в жарком воздухе, кружили голову, вызывая почти нестерпимую тошноту и головную боль. Впрочем, сказал он себе, голова болит вовсе не от того. Такое путешествие за реку, которое предпринял он вчера, мало кому из живых людей пойдет на пользу.

Из распахнутых костельных дверей тянуло ладаном и растопленным свечным воском, там в глубине затихал бронзовый басовый гул труб механического органа. Судя по канонам, месса подходила к концу. Яр решил дожидаться. В храме ему делать нечего. Пускай и времена давно не те, и со святыми отцами за долгие годы они хоть и с трудом, но поладили, и здешнего ксендза Яр считает одним из лучших своих друзей... Все так, а против природы не попрешь. Хорошо, что местные бабки по причине половодья к мессе ходят редко, а то вновь поползли бы по поселку разнообразные и сочные сплетни. Про то, что новый учитель – крамольный безбожник, которому не то что детей на воспитание определить – бездомную кошку доверить страшно. Он, конечно, на эти выдумки плевать хотел с высокой колокольни, а все-таки...

Органные вздохи смолкли, и еще несколько минут стояла полная тишина, перемежаемая только пчелиным гудом. Потом на крыльцо вышел ксендз.

– Сидишь? – сказал он, вытирая вышиваным, с петухами, рушником мокрые руки.

– Сижу.

– За порогом. Божьим домом, стало быть, брезгуешь.

– Брось, Янис, – попросил Яр устало. Потер висок: все-таки голова болела немилосердно. – Сам все знаешь, а туда же.

На загорелом лице священника возникло что-то вроде улыбки, но глаза – серые, длинные, как у большинства коренных жителей Лишкявы, – остались серьезными. Янис потер тронутый сединой висок.

– То-то и оно, что знаю. До сих пор удивляюсь, как вас всех земля носит. С точки зрения как веры, так и здравого смысла одно только ваше существование – насмешка и издевательство.

– С точки зрения здравого смысла наше существование – единственное, что удерживает этот мир на краю пропасти. И то, как ведет себя в этой ситуации поместная церковь, заслуживает всяческих похвал, хотя и не перестает удивлять. Поэтому я не понимаю, какого рожна ты так бесишься. Ты же не пропускаешь имен даже простых воинов, когда читаешь литанию?

– Если я по своей воле начну выбирать, чьи имена следует произносить, а чьи лучше пропускать, то чем тогда я лучше всей этой шеневальдской своры?

– А ты лучше?

Они поглядели друг на друга – и засмеялись. Не слишком весело, каждый прекрасно понимая, что поводов для веселья нет никаких. Скорее напротив, и коль так, то следует простить друг другу и невольную гордыню, и горечь. Предрассудки и постулаты веры – не самое лучшее, на что можно уповать, когда мир катится в бездну. А в том, что он катится, никто из них двоих не сомневался.

– Зачем пришел? – Янис уселся рядом, поддернув подол сутаны. Поправил на груди серебряный тонкого плетения крест.

– Сегодня пятница, – сказал Яр.

– Сам знаю, что не суббота.

– И в вечернюю службу исповедь.

Янис из-под ладони смотрел, как вьются над яблоневыми ветками пчелы.

– Яр, вот скажи честно, чего ты хочешь.

– Я хочу, чтобы панна Стрельникова явилась к сегодняшней вечерней мессе, и на исповеди ты спросил ее, что она делала минувшей ночью.

– Я не служу в полиции нравов. И не нарушаю тайну исповеди, если мы правильно поняли друг друга. Ни при каких обстоятельствах, Яр. Даже если они продиктованы понятиями о благополучии нынешнего миропорядка.

– Ты ничего не понимаешь.

– Да?! – переспросил ксендз. Загорелое лицо побледнело, словно пеплом его присыпали, резко обозначились скулы. – По-твоему, это я ничего не понимаю?! Ей пятнадцать лет, Яр! Опомнитесь, вы все! Как вы можете – напялить древнюю легенду на живого человека?! На ребенка!

– Ты ничего не понимаешь, – повторил он упрямо и тихо. – Они нашли Эгле, Янис. И, как мне представляется, не только ее одну. И если между нею и этим столичным проходимцем еще ничего не успело случиться, все еще можно... остановить.

Ксендз позволил себе легкий печальный смешок.

– Ты так говоришь, Ярка, будто ты пробовал остановить лавину и можешь похвалиться, будто у тебя получилось.

– Мне все равно. Только я хочу, чтоб ты знал. Эта сволочь, Кравиц... это он проводил расследование в Нидской опере, когда Кася погибла.

Янис задумчиво гладил лежащую поверх сутаны серебряную цепь. Глаза его были темны.

– Если бы она осталась жива, тебе было бы только хуже. Поверь. Может, из Каси бы и вышла Эгле, кто знает. Но ты, Яр, не Ужиный король. Ты удавился бы от отчаяния в первый же год после ее посвящения.

– Я не удавился. Ты хочешь, чтобы это случилось теперь?

Ветер пах медом и яблоками. Кружевной крест летел в облаках, похожих на длинные птичьи перья. Костел стоял на горушке, и отсюда, со скамьи, было видно, как далеко, над поплавами Ислочи, эти перья превращаются в бело-голубое крыло.

– Я священник, Яр, – сказал наконец ксендз. – Я... я не могу.

Наконец лодка заскребла днищем по песку. Анджей соскочил в воду, полагая, что здесь, у берега, совсем неглубоко, едва ли по щиколотку. Но, как оказалось, просчитался. Ухнул едва ли не по пояс, чертыхнулся, понимая, что оконательно утопил часы и остатки приличных

сигарет, а заодно и зажигалку. Теперь придется побираться по ликсненским лавкам, курить до отъезда всякую дрянь.

Он вдруг осознал, что рано или поздно придется уехать, и эта мысль обожгла. Анджей вспомнил, что еще вчера просто мечтал поскорее исчезнуть из этого городишки, так ему до смерти в столицу хотелось, а сегодня что же? Но испугаться внезапной перемене намерений как-то не получилось. Наоборот, стало жутко от мысли, что вот он уедет, а Варвара останется здесь. Может, потом, когда-нибудь, он вернется и ее заберет, но это еще когда!.. а в столице полно дел, суматоха, он закрутится и забудет...

Варвара сидела на корме, ни о чем таком и не подозревая, и шурилась на стоящее в зените солнце. Охалка водяных лилий лежала у нее на коленях; в белых, будто стеклянных, бутонах с желтой сердцевинкой стояла вода, крупные капли стекали по коленям вниз. Анджей поглядел на паненку через плечо и отвернулся, чувствуя, как все внутри скручивается в тугой огненный ком. Господи, и что ему теперь делать?

...Когда все закончилось и они пришли в себя, смогли дышать и думать, он не испытал и тени угрызений совести от того, что случилось. Он лежал и смотрел на уголья, дотлевающие в огромном, как драконья пасть, камине, заново привыкая к этому миру и к себе в нем. Варвара была рядом, уткнулась лицом в его плечо, под щекой было мокро, Анджей понимал, что она плакала, но не мог вспомнить, когда. Иногда Варвара поднимала голову и смотрела ему в лицо длинными глазами, в черных зрачках плясали отражения угасающего огня – угли, как россыпи янтарей. Он не мог понять, что именно изменилось в этом лице, но такой Варвару он никогда прежде не видел.

И еще он готов был поклясться хоть на распятии, что, глядя на него, Варвара видит перед собой совершенно другого человека.

Мужчина сидел на песке под ивой, неторопливо подкладывая тонкие вербовые ветки в крохотный костерок. Прозрачные в ярком свете язычки огня едва не лизали пальцы загорелых сильных рук. Когда человек наклонялся, серебряная нитка распятия выпадала из распахнутого ворота простой, но безукоризненно белой льняной рубахи. На вид человеку было едва ли больше сорока лет, но седина на висках оставляла простор для других предположений.

– Пан Кравиц?

Анджей выволок на песок тяжеленную лодку и помог Варваре сойти на берег. Сложил рядом на песок цветы и сверток с ее платьем – Варвара настояла на том, чтобы забрать старинную сукню с собой, как Анджей не убеждал ее в обратном. Вынул из уключин и бросил на дно лодки весла и только после этого оглянулся.

– Чем обязан? – он узнал в сидящем ксендза из местной церквушки. Кажется, отец Ян. А, неважно!..

– Вы, собственно говоря, мне не нужны. Ну разве что как-нибудь, пока вы не уехали, придите к исповеди. Ради приличий. А то люди переживают.

– Перебьются, – невежливо сообщил Анджей.

Святых отцов он терпеть не мог, не столько по роду службы, сколько из чисто человеческих соображений. Похоже, и этот – не исключение. Вообще, пути Инквизиции Шеневальда и Крево и святой Церкви пересекались довольно часто, но препятствия на этих путях были исключительной редкостью. В основном, отношения сводились к утверждениям вынесенных судебных приговоров, положенных к случаю проповедей о необходимости и пользе милосердия... ну и, изредка, информирования Святого Сыска о слишком уж неясных случаях. Ведьмы и навь – они ведь разные бывают.

Всякое случалось, но конфликтов из-за подследственных не возникало никогда.

– Ну, предположим, – согласился ксендз покладисто. – Перебьемся, тем более, что ваш визит в храм вряд ли будет искренним. А вот панне Стрельниковой следует вспомнить, что она добрая прихожанка, и долг веры...

Анджей присел перед костерком на корточки и протянул к огню застывшие от воды руки.

– А не пойти ли вам куда подальше, святой отец? – поинтересовался он лениво. Языки пламени дергались, похожие на обрывки цветной блеклой ткани. – Панна Стрельникова пребывает под следствием и будет находиться при мне неотлучно, о чем вынесено соответствующее постановление. Ежели угодно, могу показать. У вашего штатного венатора в конторе. Приходите, побеседуем... старки выпьем. Или постулаты веры не позволяют?

– Не юродствуйте, пан Кравиц. Вы понимаете, о чем идет речь. Панна Стрельникова – несовершеннолетняя, опекуна у нее нет. К черту постулаты веры, но вы ввязались в такое... Вы сами не понимаете, чем это может кончиться для вас и для нее. Заметьте, я вам это не как священник говорю.

– Подите к дьяволу с вашим опекунством!

– Пан Кравиц, остановитесь, пока не поздно!

Он так и не понял, что произошло в следующую минуту. Мир опрокинулся навзничь, резкими, до оскомины, сделались краски. Станным, искаженным зрением он будто со стороны увидел песчаный откос, иву, наклоненную над водой, сидящих возле засыпанного песком кострища девочку и не старого еще мужчину – и огромного ужа в золотой с янтарями короне на плоской голове. Глаза девочки, отражающиеся в вертикально поставленных змеиных зрачках, руку священника, поднимающуюся в крестном знамении...

И еще был человек в такой же змеиной короне – он стоял на речном обрыве и смотрел на происходящее внизу, облака и сосновые кроны плыли под его ногами.

Почему-то Анджею показалось, он улыбается.

Глава 4

Ликсна, Мядзининкай

Май 1947 г.

– Сидите тихенько, пане начальнику, а то я сбиваюсь. Семьдесят семь, семьдесят восемь... Родин, тебе чего? Ничего? Тогда закрой дверь. Я сказал, с той стороны! Семьдесят девять... Родин, выйди вон!

Анджей сидел на застеленной клеенкой кушетке в школьном медпункте, а штатный венатор Ликсны пан Квятковский, примостившись напротив на хлипкой табуреточке, держал своего начальника за запястье и безуспешно пытался сосчитать пульс. Поскольку была перемена, в дверь то и дело ломились страждущие – в основном, томные барышни из старших классов. Всякий раз, когда после деликатного стука в занавешенное марлей стекло в кабинет заглядывало кукольное личико и раздавался мученический вздох, Квятковский тоже вздыхал. Потом сообщал, что пирамидону нет, а освобождение от занятий он выписывал оной панне аккуратно вчера, и терпение его не бесконечно. Потом опять брался за запястье Анджея и принимался шевелить губами.

Артем, Яров племянник, явился как раз тогда, когда и Квятковский, и его пациент были уже на грани кипения.

– Ну, сейчас валерьяночки накапаю, а валидольчик под язык... А прежде у вас боли наблюдались?

Анджей покачал головой. В тридцать с лишним лет боли в сердце? Глупости какие. А тут – черт знает что. Перешагнул порог кабинетика – и будто игла прошла меж ребрами, нечем стало дышать, темнота в глазах, ощущение, что жизнь конечна.

– Невроз, голубчик, – успокаивал Квятковский, усаживая высокое начальство на кушетку и быстро перебирая чуткими пальцами вены на сгибе его локтя. Наверное, раздумывал, не поставить ли укол. – Переутомились на государственной службе. Вам бы докторам в столице показаться, все-таки сердце, не шуточки... Родин, тебе чего, я спрашиваю? Тоже мигрень замучила?

– Что я, девица? – возмутился Артем, исподлобья оглядывая кабинет. Видимо, решал, стоит ли верить открывшейся взору картине. Анджей на его месте нипочем не поверил бы. Но в этой семейке, как он успел уже убедиться, понятия о вере и приличиях весьма отличались от общепринятых.

– Меня пани Катажина прислала, – сказал Артем наконец, морщась от запаха валерьяновых капель. Будто кот-трезвенник. – Она там в обморок грохнулась в рекреации. Между прочим, как раз к вам шла, сказала, вы ее вызывали.

– Я-а?! – не то удивился, не то испугался Квятковский. – Я не вызывал!

– А напрасно! – возгласил Анджей и, скривившись, залпом опрокинул в рот стеклянную рюмочку с мутным, остро пахнущим питьем. Руки у Квятковского, который протягивал ему лекарство, тряслись так, что медлить было опасно. Он еще удивился, как это пани Катажина могла кого-то прислать, если лежит без памяти, но решил, что Артем просто оговорился от волнения. – Это я ее приглашал. Но теперь, как видно, придется идти самому.

Спускаясь по лестнице на второй этаж, Анджей чуть задержался на площадке. Так, что Артем, перепрыгивавший через две ступеньки, как заяц, едва не налетел на него.

– Дядюшка-то здоров? – пользуясь царящей вокруг суматохой школьной перемены, поинтересовался Анджей нежно.

– А что?

– Ничего. Привет ему передавай при случае. И за лодку спасибо... и за весло. – Он запнулся, потому что отсюда, с лестничной площадки, была хорошо видна собравшаяся в рекреации младшего отделения толпа. Белобрысая Ярова голова возвышалась над морем стриженных затылков и кудрей с бантами, как маяк на морском берегу. Пан Родин пытался разогнать любопытствующих, но получалось у него плохо.

– Пошли, – сказал Анджей. – А то твоего родственника сейчас малышня затопчет. И Квятковского заодно.

Она лежала, закинув вверх голову с разметавшимся узлом прически, Анджей видел, как вздрагивает на шее, под вздернутым подбородком, синяя жилка. Вокруг плотной стеной сгрудилась малышня. Шушукались, опасливо вздыхали, толкали друг друга локтями, наперебой строя догадки – одну страшнее другой. Яр молчал и не двигался, было похоже, он кого-то ждет. Нормальный человек в такой ситуации бы суетился, пытаясь оказать так называемую «первую помощь» – на самом деле, оказывать ее умеют только те, кому это по должности положено, остальные просто крыльями машут без толку, зато у окружающих не остается сомнений в том, что они очень переживают за спасаемого.

– А ну брысь отсюда, – негромко велел Анджей. От этих слов пан Родин точно очнулся, осмысленным сделался взгляд. За без малого дюжину лет, в которые длилась его карьера, Анджей перевидел немало таких испепеляющих взглядов и давно научился не чувствовать ничего... но тут и его передернуло.

Они стояли и смотрели друг на друга, и со стороны могло показаться – воздух между ними звенит.

Детишки медленно рассасывались по своим делам. Где-то очень далеко прозвенел звонок. Косая полоса солнца лежала на зеленоватых от недостатка мастики паркетных половицах.

– Очнулась, – сказал из невозможного далека Артем.

Напряжение схлынуло; он ощутил себя льдиной, всплывающей из темной воды. Веки женщины, тонкие, будто вылепленные из прозрачного фарфора, затрепетали, и Анджей вдруг поймал себя на точном знании того, кто она такая.

Он почитал себя виртуозным знатоком всяческой нечисти, он мог бы лекции читать о том, кто такие навы и ведьмы... если бы хоть один университет Короны открыл у себя подобный факультет. Он знал о них все. Среди этих знаний – по большей части, бесполезных, потому что, увы, и в Лишкяве, а уж тем более, в Шеневальде, всего этого теперь не встретишь – так вот, среди этих бессмысленных сокровищ были и смутные сведения о том, откуда они приходят. Навы, то есть. Откуда приходят и почему. Обрывки легенд о том, что есть Черта, разделяющая мир мертвых и живых, и чем дальше те умершие, которые стоят с той стороны Черты, тем меньше человеческого в них остается. И единственное, что способно их у этой Черты удержать – это память живых. Легенды эти Анджей, в силу профессионального скептицизма, всегда полагал больше враньем, чем правдой. Какая-то Черта, при чем тут память...

Идиот.

Он узнал и эту женщину – собственно говоря, он узнал ее сразу, как только увидел впервые, но подробности встали в памяти только теперь – он узнал и ее, и пана Родину, случайно встреченного тогда на укрытой малиновым бархатом лестнице Нидской оперы.

Нида, Ургале,
!940 год, ноябрь.

– Кофе, – сказал он, опускаясь на жалобно скрипнувший обитый зеленым штофом стул. Подскочивший кельнер без единого слова распахнул у самого лица такую же зеленую кожаную папку с меню. Анджей досадливо дернул плечом, и папка закрылась и исчезла сама собой, будто ее вовсе не существовало на свете.

– Кофе, – повторил он. – Много и крепкого. Не сладкий. Сливок не надо. Да, и еще городские газеты. Все какие есть.

– Что-нибудь еще пан желает?

– Желает. Чтобы все делалось быстро, и чтобы никто меня не беспокоил.

– Сию минуту.

Дождаясь, пока принесут заказ, он смотрел в окно. Там, за плюшевыми занавесками, медленно синели и сгущались сумерки, порошила метель, пушистые снежинки летели на теплый свет газовых фонарей. Кравиц нарочно выбрал эту кавину, расположенную прямо напротив парадного подъезда Нидской Оперы. Отсюда хорошо было видно полукруглое высокое крыльцо, пока еще запертые высокие двери; причудливой ковки чугунные фонари освещали вывешенные свежие афиши. Сквозь сумерки и снег было не различить, что на них написано.

До начала вечернего спектакля оставалось больше трех часов, но в ноябре темнеет рано. Анджей знал: этого времени ему хватит с лихвой. На все. В том числе и на то, чтобы без спешки выпить кофе, прийти в себя после утомительной поездки – через всю Лишкяву сюда, в этот город на взморье. Ехать поездом он отчего-то опасался, и это был совершенно иррациональный страх. К тому же, справедливо рассудил он, такой способ путешествия – самый подходящий для того, чтобы составить представление о стране, где ему теперь предстояло жить – и работать.

Из окна возка он видел бесконечные занесенные первым снегом поля, прозрачные перелески, бедные, укрытые плохой соломой деревенские хаты, деревянные каплички на распустьях. Редкие, небольшие и такие же бедные города: площадь с ратушей, костелом, пожарной каланчой и десятком торговых рядов вдоль главной улицы, единственной, где уложена брусчатка... шляхетские застенки, богом и людьми забытые хутора. Везде было одно и то же – бедность и ненависть, и темные глаза святых на закопченных иконах, у которых никто не бил поклоны. И странные песни, и в самых темных углах хат, в дальних покоях полуразрушенных дворцов и замшелых маёнтков – черные от времени деревянные лики Пяркунаса, и разговоры, которые замирают сами собой при появлении постороннего человека.

После Шеневальда все это выглядело дикостью.

Он и представить себе не мог, что за без малого два с половиной века, в которые длился установленный со времен Болотной войны протекторат Шеневальда, страна может прийти в такой упадок. Неудивительно, что ведовство цветет в краю буйным цветом. Бедность, невежество и чернокнижие всегда идут рука об руку. И значит, ему, венатору Шеневальдской инквизиции, есть чем заняться. Чтобы все, что здесь происходит, превратилось из каждодневного и жуткого в своей непостижимости чуда в обыкновенные предрассудки. Вроде сквашивания ведьмами молока в дозволенные дни.

Однако пока до таких благословенных времен еще ой как далеко. Пока в весенний солнцеворот они мажут птичьей кровью губы своим закопченным идолищам, а потом идут в костел и славят Воскресение Господне, а на Деда, когда зимняя гроза несет по небу клочья набрякших снегом туч, запирают наглухо ставни и двери, и не высовывают носа за порог, опасаясь Дикого Гона... пока все это так, работы ему хватит.

Ибо Инквизиция Шеневальда, если задуматься, вовсе не то древнее страшилище из учебников истории, о нет. Да, в сущности, никогда таковой и не была. Древние ужасы мертвы при свете дня, а он бы никогда не рискнул назвать мертвой эту чудовищную, хваткую и гибкую машину государственного насилия, с которой вот уже столько лет имеет дело. Дикая помесь клерикального сыска, санитарной службы и воинствующей лечебницы для душевнобольных, охватывающая все и вся – как лесная повилика, что вползает в каждую щель. За две с полови-

ной сотни лет, прошедшие с момента своего основания, она нисколько не изменилась. И иногда Анджею казалось, что он сам боится дела, которому служит.

Но не это его ужасало.

Как-то так выходило, что все подследственные, с которыми он имел дело, оказывались женщинами. Разумеется, если речь шла о человеческих существах. Навы, мавки, болотницы, ворожеи, ведьмы... сколько их там ни есть в классификации – все до единой они были женщинами. Он никогда не мог понять, почему так происходит. Считать, что мужская природа сама по себе залог чистых помыслов, было бы верхом глупости. Но если верить в местные суеверия, твердо гласившие о том, что после смерти люди отправляются за Черту, отделяющую мир живых от мира мертвых, то получалось, что там, в новом мире, мужчины вполне успешно находят себе применение. Или превращаются в нечисть высшей пробы, полностью утрачивая человеческий облик. А девы, значит, могут ходить туда-сюда... мстить живущим... или просто жить рядом, отдавая часть собственной силы вполне еще живым товаркам. Уложение о мерах допустимого зла – самый дичайший документ, который Анджей когда-нибудь видел. Но только приехав в Лишкяву, он смог понять, почему этот кодекс вообще появился на свет.

Потому что, если бы его не было, примерно треть женского населения края следовало бы отправить на костер. Или в яму с вапной – так называют в этих краях негашеную известь, и она успешно заменяет здесь костры как способ казни еретиков.

Но ни костры, ни яма с вапной не решили бы проблему ни в малейшей степени: равновесие в природе восстанавливается быстро, а в этой области – особенно быстро, как будто навье и есть самая уязвимая ее часть.

Таков порядок вещей, и хватит об этом.

Наливая из обернутого крахмальной льняной салфеткой кофейника в тонкостенную чашку только что принесенный кофе, он не думал ни о чем и только смотрел, как выются за окном пряди метели и горят мягким светом фонари. Потом наугад вынул из жиденской стопки газету, развернул, отыскивая колонку светской хроники.

Некрологи, объявления о помолвках и свадьбах, поздравления с рожденьями и крестинами. Ничего такого, что могло бы смутить или поразить воображение. Обычная жизнь захолустного городка. За неделю – пять похорон, три свадьбы и с десяток младенцев. Труппа императорского театра начинает гастрольные спектакли на подмостках Оперы, в главных ролях занята известнейшая и несравненная Юлия Бердар. Первое представление прошло с аншлагом, публика была в восторге, дважды вызывая приму на бис.

Он перевернул страницу и углубился в сообщения о происшествиях, в которых, как он давно усвоил, слухов всегда было больше, чем правды.

Пожар, своевременно и удачно потушенный, подвода молочника перевернулась прямо посреди ратушной площади, произведя фурор среди окрестных кошек... четыре дамы необъяснимым образом лишились чувств в опере, видимо, потрясенные силой искусства несравненной панны Бердар, и еще две особы почувствовали острое недомогание, посещая косметический салон пани Ожешки, в котором, как всем известно, прически делают весьма искусно и со всем тщанием, а в мастерской мадам Отгис, где подрабатывают многие занятые в оперной костюмерной барышни, еще две особы упали в обморок. Автор коротенькой заметки, помещавшейся в самом хвосте колонки, справедливо сетовал на недопустимую приверженность прекрасного полу тугим корсажам и стыдил дам за излишнее внимание собственной персоне. В довершение всего автор сообщал, что вчерашняя театральная премьера удалась, и досадное недоразумение, повлекшее за собой порчу взбитых сливок на пирожных, доставленных как раз к началу представления из кондитерской Тиволи, разумеется, не смогло нанести ущерб великой силе искусства.

Анджей сложил газету и принялся за кофе.

Рапорты, поданные в канцелярию Синода, не лгали ни единым словом. Он вообще полагал, что на самом деле все гораздо хуже, чем представляется здешним осведомителям. Впрочем, если бы было иначе, он бы сюда не приехал.

У крыльца оперы понемногу начиналось смутное движение. Подкатывали редкие пока коляски, топтались разносчики с лотками и продавцы театральных афишек, у заключенного наглухо окошка кассы в тщетной надежде выстроилась небольшая очередь – по большей части плохо одетые студенты местного коллегиума, барышни-курсистки – все как одна в смешных шляпках на стриженных головах, и в очках, – еще какие-то невнятные граждане. Под портиком, куда не так заметало снегом, занял пост воздыхатель с букетом – очевидно, поклонник несравненной и известнейшей Юлии Бердар. Анджею показалось, даже через оконное стекло проникает в маленький, жарко натопленный зальчик кавины томный аромат завернутых в пергаментную бумагу роз.

Он расплатился, сунул за пазуху куртки давешнюю газетку и вышел на улицу. Снег мело в лицо, воздух был свежим, будто весенним. Ветер принес душное дыхание чужих цветов и горячий запах свечного воска. До начала спектакля было еще около полутора часов.

– Вот, извольте видеть. Может быть, эти бумаги убедят вас в серьезности положения.

– Вы еще скажите, что я местным газетам верить должен! А там, между прочим, пишут то же самое.

С этим спорить было трудно. Еще труднее – с сигнатурами Инквизиции Шеневальда. Анджей знал, какое впечатление производят на посторонних людей эти бумаги.

Директор Нидской Оперы издал сокрушенный вздох, стащил с носа позолоченное пенсне, вытер крахмальным платком испарину со лба. Анджей, напротив, поежился: в директорском кабинете, где они вели этот разговор, стоял лютый холод. Ему даже показалось, что на кафельных изразцах грубки серебрится изморозь. Надо полагать, дела у пана директора идут куда как не сладко. Интересно, в уборных у актеров такой же мороз? Или их он все-таки жалеет... А то ведь, если не жалеть, скоро и выйти на сцену будет некому.

– Могу ли я надеяться, что ваша... миссия не нанесет ущерба сегодняшнему спектаклю?

Анджей задумчиво подышал в меховой воротник куртки.

– Ну, вы же не думаете, что я прямо отсюда несравненную панну Бердар на дыбу поволоку.

Директор икнул и поперхнулся давно остывшим кофе. Анджей тактично решил не обращать на это внимания. Гораздо больше его интересовало, прибыла ли она панна в театр. Впрочем, шорох колес под окном и истерические взвизги поклонниц, просочившиеся сквозь неплотно пригнанные оконные рамы – понятно, откуда тут такая холодина! – был ответом на его вопрос.

Поднимаясь в сопровождении директора по парадной лестнице, Кравиц на несколько секунд задержался, ожидая, пока его спутник одолеет очередной пролет. Взглянул в окно. Увидел, как распаивается дверца авто, летит подол длинной ласковой шубы, ножка в остроносом с пряжкой сапожке брезгливо ступает в снежную кашу. Ощущение чудовищной ошибки накатило вдруг и так же внезапно улеглось. Делай что должно и будь что будет – так, кажется, учили его совсем недавно. В конце концов, не убьет же он эту самую Юлию Бердар!

– Вот, – объявил директор и ткнул пухлым пальцем в запертую дверь в самом конце коридора.

Над дверью горела лампа в мутном плафоне, света от нее было чуть. Анджей подумал, что панна Бердар, должно быть, не раз обещала директору за такую красоту морду расцарапать. Видать, терпеливая особа, раз директор еще глядит на мир двумя глазами.

– Это ее уборная. Только пану, наверное, придется еще обождать. Знаете, эти капризы... боже, как я от них устал. А вы ее арестуете?

– А следует? – полюбопытствовал Анджей через плечо.

– Боже сохрани! – всплеснул руками директор. – А впрочем, пан специалист, ему и решать. А я, простите, не могу больше, у меня дела, дела...

Он остался один в темном пустом коридоре. Пахло сырой штукатуркой и плесенью. Лампочка дрожала и переливалась, грозя вот-вот погаснуть. Был во всем этом налет какой-то нездоровой мистики, поэтому, услышав чужие голоса, Анджей несколько не удивился.

Говорили как будто совсем рядом. Двое мужчин, судя по голосам, старый и совсем молодой. Спорили. Слов было почти не разобрать, но Анджей прислушался, и голоса зазвучали яснее.

– Видел?

– Видел, – вздохнул молодой. – Только лучше б не видеть. Неужели ж нельзя как-нибудь иначе? Ну почему – она?!

Старый помолчал. Анджей почти как наяву увидел, как он пожимает плечами, качает красивой седой головой.

– Пустое, Яр... Бумаги давай. Читал? Ну понятно, читал... все как мы думали?

– Именно что. У матери одна. Поздние роды, почти в сорок, да еще в пути, в какой-то телеге по дороге на Ургале. Клиническая смерть. До больницы не довезли, дитя спасли своими силами, мать в родильной горячке умерла двумя сутками позже. Девочка росла с теткой. Говорить начала поздно. Что-то еще?

– Сведения получены от тетки?

– Еще чего, – оскорбился молодой. – Кася сама рассказала. Понятно, что с тетких слов, только врать-то ей мне зачем.

– Ты знаешь – зачем.

– Знаю... Гивойтос, но я же люблю ее! И вот так – своими руками! – отдать?! Почему – она?!

– Тише, мальчик... тише. Мне правда... очень жаль.

Наступила недолгая тишина, потом сквозняк прошел по коридору, лицо опахло ледяной сыростью, запахом разрытой земли – будто птичьим крылом. Анджей шарахнулся, за спиной подалась внутрь дверь чьей-то гримерки, он ввалился внутрь, в пахнущую пудрой и духами стылую тьму, прорезанную светом уличных фонарей.

Закутанный в длинный странного покроя плащ высокий человек прошел по коридору, на мгновение повернул голову, Анджей увидел его лицо – высокие литвинские скулы, яростные серые глаза. Потом ничего не стало.

Он постоял еще немного, тяжело, загнанно дыша, слушая, как в висках медленно унимается шум крови. Потом по коридору застучали женские каблучки, запахло духами, морозом и еще чем-то трудно различимым. Хлопнула рядом дверь.

– Вы актриса?

Дрогнула рука в длинной, выше локтя, атласной перчатке, изящно изогнулось тонкое запястье, стряхивая пепел с чудной заграничной сигареты в яшмовом мундштуке. Удивленно приподнялась капризная бровь.

– Я? – переспросила она и ответила совершенно спокойно, без тени иронии. – Что вы. Я – звезда.

На туалетном столике в тяжелой хрустальной вазе изнывали, освобожденные от бумаги, черно-багряные розы. Снег таял на бархатных лепестках.

Она не шутит, понял Анджей. И не преувеличивает. Все так и есть. Она – звезда. Еще шаг – и обожжет насмерть. Ледяной жар, сияние морозных сполохов.

В этом лице, со странно неправильными и от того еще более привлекательными чертами, не было ничего, что позволило бы Анджею заподозрить именно ее. Чересчур резкие скулы, еще

более яркая в сочетании со смуглой кожей зелень глаз, каштановая копна волос, выбивающихся короткими локонами из-под маленькой меховой шапочки со смарагдовой эгреткой. Бледный рот, уголки губ изгибаются так, что невозможно понять, улыбается она или печальна. Родинка на правой скуле, почти у самого виска. Красивой эту женщину мог назвать только влюбленный или слепой. Но, тем не менее, она была красавицей.

И – самой обыкновенной женщиной.

– Извините, – проговорил Анджей. – Я обознался.

– Пустое, – она загасила в хрустальной пепельнице свою заморскую сигарету и посмотрела ему в лицо. – Хотите, я вам карточку подпишу?

– Не хочу, – сказал он.

В залитых синевой окнах мела и крутила метель, на карнизе рос подсвеченный золотом сугроб, медленно заволакивало снежной пеленой стекла.

– Пускай их приводят. Всех.

– А спектакль? Вы же сорвете представление!

Он пожал плечами. В груди было пусто и холодно, размеренно бухало сердце. Подумалось: еще секунда, и он окончательно утратит способность контролировать себя. Одному Богу известно, чем это может закончиться.

– Вы что, не поняли? – не оборачиваясь, очень тихо спросил он. – Я же сказал – всех. И ваши трудности меня не волнуют.

Жалобный стеклянный звон заставил Анджея обернуться. Директор оперы, до того сидевший за своим обширным до неприличия столом с бронзовой чернильницей и лампой с малиновым абажуром, теперь, потерянно вздыхая, разглядывал погнутое пенсне, в котором не хватало одного стекла. Кравиц шагнул от окна, под ногой стеклянно хрустнуло.

– Поторопитесь, – сказал он. – У вас очень мало времени.

Сначала были актрисы. Первого состава, потом второго, третьего, девочки из кордебалета, гардеробщицы, официантки из театрального буфета, старенькая, похожая на подслеповатую седую птицу билетерша... Анджей никогда не думал, что в театре служит так много женщин. Их вводили по одной, как он велел, но, прежде чем войти, каждая из них ненадолго замирала перед дверью директорского кабинета – видимо, их все-таки предупредили, кто он такой, и они, ясное дело, боялись. Тех нескольких секунд, которые они медлили у порога, Анджею хватало для того, чтобы понять – не то. И дальше, когда они входили, он разговаривал с ними – ни о чем, просто для того, чтобы создать видимость допроса. Имя, фамилия, статус, замужем или нет, и сколько детей, и как давно в театре. Он сидел за директорским столом, напротив окна, которое сначала совсем замело снегом, а потом, когда метель превратилась в ноябрьский тоскливый дождь, сделалось похожим на черное зеркало. Чужое лицо глядело на него из темной глубины стекла: подсохшие скулы, кривой рот, черные провалы глаз. Ничего человеческого не было в этом лице, Анджей даже испугался краем рассудка, потом понял – это он сам, и уж тогда испытал страх всерьез.

Наверное, поэтому он ее и прозевал.

Когда отворилась дверь и в лицо будто дохнуло ветром – но не холодом, нет, а запахом скошенного луга, речной воды, яблок, – было уже поздно.

Она прошла и села напротив, на стул, специально приготовленный для его собеседниц. Сложила на коленях руки. Молча взглянула ему в лицо – глаза были, как просвеченная солнцем вода летнего озера, когда каждая песчинка видна на золотом дне.

– Как вас зовут, сударыня?

– Кася. Катажина Вильчур.

– Вы знаете, для чего вас сюда пригласили?

– А вы? – спросила она. Глуховатый голос, странный акцент. Родом с шеневальдского взморья? – Вы знаете?

– Вот, взгляните, – он придвинул к ней по столу папку с бумагами. Какие могут быть секреты? Он был совершенно уверен, что все, о чем там говорится – ее рук дело.

– Ну и что? – она равнодушно пожала плечами. Натянулась и опала на худых ключицах ткань невыразительного серого платья. Вена в яремной ямке вздрагивала ровно и ритмично. Она живая, проскочила отчаянная мысль, живая, как и все они. Не порождение ночи и тьмы, не нава, не болотный морок. И даже не ведьма, как он, в простоте своей, полагал. Но как тогда объяснить все то, о чем написано на этих листах в его папке?! – Это только слова. Вы же не верите, что все эти буквы – я?

– Во что же тогда, сударыня, я должен верить? Объясните.

– А вы точно знаете, что вам следует это понимать?

– В противном случае мне придется открыть дело, а вам – познакомиться с трибуналом инквизиции Шеневальда.

– Убивайте всех, Бог отличит своих... Так?

– Для помощницы костюмерши вы весьма начитаны, панна.

– Дурачок, – сказала она печально и покачала головой. – Вы даже не представляете, во что ввязываетесь.

– Я уже предложил вам – объясните.

Она встала в молчании, отступила на несколько шагов, и тень ее, отраженная горячей на столе лампой, легла на стену. Обычная женский силуэт с разведенными в стороны, будто для объятий, руками. Вот они распахнулись шире, превращаясь в подобие крыльев, и тень выросла, стала огромной, вспорхнула со стены на потолок, заполонила собой всю комнату, забрала весь воздух, так что даже дышать стало нечем. Сухо и солоно сделалось во рту, с бешеным гулом рванулась в виски кровь... он глотал сделавшийся ледяным и острым воздух и никак не мог насытиться, а птица на стене все росла и росла, и шире раскрывались крылья. Вот взмахнули, закручивая горячими спиралями огонь в камине, и сказочный замок восстал из малиновых углей. Чужие, незнакомые и будто нездешние лица глядели на Анджея со всех сторон, и узкая тень змеиной головы проступала за ними, он видел их глаза с вертикально поставленными зрачками, он видел матовые отблески бурштына – янтарный дождь падал отвесно с высокого неба, осененного, словно крылом, перистыми облаками, капли были прозрачными и теплыми, и там, где они падали, мир свертывался, будто кожура яблока под ножом, исчезал, переставал быть, и он сам исчезал вместе с этим миром...

– Эгле!! Остановись!

Анджей открыл глаза. На пороге кабинета, упираясь руками в косяк и загнанно дыша, стоял человек. Анджей узнал – тот самый, который недавно вел в коридоре странные беседы о тайне рождения и любви.

Огненно-черная птица прекратила свое кружение по комнате, сложились и опали крылья, вслед за ними улеглось пламя в камине, но ледяной морок, сжимавший виски, и не думал отступать.

В просвеченном золотом тумане, какой обыкновенно встает сентябрьским утром над плавнями, Анджей увидел невысокую женскую фигурку. Она шла ему навстречу – плыла над верхушками трав, край длинного плаща-велеиса был темным от росы. Скоро женщина оказалась совсем рядом, и тогда Анджей смог разглядеть ее лицо.

Это была Катажина – и не она. Серый узор, похожий на изморозь на оконном стекле, покрывал лоб и щеки, сползал на шею, стремительно заливая грудь, стальная цепочка с бурштыновым медальоном растворялась в его сплетениях.

– Пяркунас... – за спиной растерянно выдохнул Яр.

Анджей его не услышал. Он смотрел на женщину – туман за ее спиной расступался, вересковое поле лежало за ним. Синее-синее. Качались травы, бесконечное ужинное море текло от небокрая, неостановимо; в обращенных к нему неподвижных змеиных зрачках Анджей видел лица, тысячи лиц, холодный блеск стальных клинков. Этому не было конца, он чувствовал, что задыхается, когда, раздирая у горла ворот рубашки, упал в кресло.

Пахнет вереском и увядающими травами. В чаше кленового листа застыла вода. Холодит висок. Черный росчерк птицы в вечеряющем небе. Острый, как приступ безумия, запах пепла – и треск огня, дымом шибает в ноздри. От жара трещат волосы.

– Вставайте, черт вас побори!

Он очнулся. Яр тряс его за плечо. В распахнутую дверь увидел багряный отсвет на темных стенах в коридоре. Оттуда тянуло жаром, как из печной грубки.

– Бегите, делайте что-нибудь, не сидите!..

– Что происходит?!

– А вы не видите?

Он поднимался из ставшего вдруг предательски мягким кресла – тяжело, как больной, хватаясь из последних сил за вытертые добела подлокотники. И только поднявшись, увидел на ковре в двух шагах от стола лежащую ничком женскую фигурку.

Серый плащ-велеис разметался широко и свободно, тонкая рука выглядывала из-под края. Подол плаща был мокрым, веточки вереска прилипли к грубой ткани. Анджей почти наверняка знал: на лице женщины, если ее перевернуть, он увидит странный серый узор.

Он оглянулся в недоумении. Яра в кабинете уже не было.

Катажина оказалась неожиданно тяжелой. Анджей даже подумал, что не сумеет унести эту ношу достаточно далеко. Но больше вокруг не было ни единой живой души – и, значит, выбора у него не осталось.

Кравиц был на парадной лестнице, когда обрушилась кровля. Оставался последний пролет, он точно знал, что успеет... и искренне верил в это даже тогда, когда нога загнулась за бронзовый прут, придерживавший выгоревшую дотла ковровую дорожку. Он не понимал, что спешить, в общем, уже некуда.

...Потом пошел снег. Крупные снежинки летели из низко идущих багровых туч и таяли, никак не могли укрыть черную слякоть земли. У снега был запах и вкус пепла. Медленно тлели торчащие в небо балки, хрустели под ногами расплавившиеся в страшном жерле пожара осколки стекла, лопались тонкие хрустальные подвески, украшавшие некогда роскошную люстру.

Катажину положили на брезентовые носилки и накрыли поверх клеенчатой простыней. Понесли. Кареты «скорой помощи» стояли в некотором отдалении от крыльца, там было шумно, горели костры – как будто мало было недавнего пламени, – там кричали и метались на земле раненые, матерились и страшно орали врачи и прибывшие вместе с пожарными бригадами волонтеры из городского ополчения.

Анджей молча пошел рядом с носилками. Санитары то и дело оступались на неровных наледях мостовой, клеенка съезжала, Анджей методично поправлял. Он все никак не мог понять, зачем они накрыли Катажину с головой, вот же и рука, выскользнувшая из-под покрывала, теплая и мягкая, только вены почему-то опали...

– Вы, – негромко сказал у него за спиной Яр. Анджея передернуло, столько тяжелой ненависти было в его голосе. – Уйдите, богом прошу. Вы и так уже сделали... все, что могли.

– А как же?..

– Кася? – он помолчал, вытер рукавом черное от сажи лицо. – Вас еще что-то интересует?

– Я не успел. Простите...

– Да бросьте вы! Она умерла в тот момент, когда упала... там, в кабинете. Разве же можно без посвящения... такие вещи!.. Пяркунас, да будьте вы прокляты, откуда вы взяли на нашу голову!.. а теперь Райгард обречен.

Он не договорил и побрел прочь, ссутулив, как старик, плечи и тяжело загребая ногами снежную кашу.

Анджей смотрел ему вслед. Черные хлопья сажи, мешаясь со снегом, летели ему в лицо и таяли, оставляя на губах странный соленый вкус.

...И вот теперь этот человек стоит перед ним и требует совершенно невозможных вещей.

– Уйдите, пан Кравиц. Оставьте ее в покое. Ее и нас всех. Возвращайтесь в Мариенбург, в Крево – куда хотите. Еще день – и вода спадет.

– Откуда вы знаете?

– Какая разница... Знаю.

В наступившей недолгой тишине было слышно, как с сухим шорохом осыпаются на жестяной подоконник клейкие чешуйки тополевых почек. Катажина не шевелилась и не открывала глаз, хотя Анджей совершенно точно знал, что она давно пришла в сознание. Едва ли ему удастся с ней поговорить. А он дорого бы отдал за такую возможность!

– Пан Родин не думает, что нашу беседу следовало бы перенести в другое место? И, возможно, на другое время.

– Другого места у нас не будет. И времени тоже.

– Вашими стараниями. Не моими. Если бы я старался – мы говорили бы в казематах мариенбургского синедриона.

При этих словах Яр качнулся с пяткок на носки, длинно вздохнул и сгреб Анджея за рубашку.

– Послушайте, вы! Вам мало того, что было девять лет назад?! Сколько народу по вашей милости погибло тогда? Это если не считать вот ее... Десять человек? Двадцать?

– Пятьдесят четыре, – скучным голосом сообщил Анджей.

– Вы считали?!

– Я сводки читал.

– Ах, сво-одки?! А скольких еще вы за эти годы уморили? Об этом ваши сводки не упоминают? Что вам нужно от нас от всех?!

– От кого это – от нас? – Анджей повел плечом, стряхивая с себя Яровы руки. – От ваших обобщений, пан Родин, дурно пахнет. И я хотел бы напомнить вам, что нахожусь здесь отнюдь не в качестве частного лица.

– И что? – оскалился Яр.

– А то, что, в силу возложенных на меня полномочий, имею сообщить вам: ваши слова, а, прежде всего, действия подпадают под юрисдикцию Инквизиции Шеневальда, Уложения о наказаниях и попросту, кодекса чести. Если бы не первые два обстоятельства, пан Родин, я бы банально дал вам в морду, а так... буде вы не успокоитесь, вас ждет возбуждение уголовного и клерикального производства. Я понятно выражаюсь, или вам объяснить в деталях?

– Сделайте одолжение.

Анджей вздохнул. Ощущение чудовищной усталости возникло и заполнило его до краев. Усталости и осознания полной безнадежности всего, что он делает. Но как по-другому – он не знал.

Тополя шумели за окном, терлись о стекла юной листвой, стряхивали под ветром ставшие ненужными почки.

– Итак, пан Родин. Вы, не имея на то ни полномочий, ни сколько-нибудь крайней нужды, вызвали к земной жизни особу умершую – сиречь, наву, существование каковой поддерживаете силами своей души на протяжении долгого времени. Вы прикрывали ее действия и спо-

собствовали устройству ее в вещном мире, к тому же, как я понимаю, ввели ее в детское образовательное учреждение, тем самым подвергнув опасности жизнь и здоровье детей. Далее, вы препятствовали выполнению служебного долга чиновником Инквизиции Шеневальда и даже совершили на него нападение в присутствии свидетелей.

– Это Стрельниковой, что ли? – с кривой улыбкой поинтересовался Яр. Анджей не обратил на это никакого внимания.

– О Стрельниковой чуть погодя. Помимо того, что я уже перечислил, у Инквизиции есть основания полагать, что вы имеете касательство к некоему тайному обществу, о чем будет проведено отдельное расследование. И последнее. Вы подозреваетесь в посягательстве на честь, достоинство и кодекс веры несовершеннолетней девицы.

Боже, подумал он, как у меня язык повернулся сказать такое.

– А вы? – глаза у Яра сделались совсем дикими. – Вы – не подозреваетесь?

– Чего уж меня подозревать, – шевельнул плечом Анджей. – Что сделано – то сделано, а каяться у меня не в привычках.

– Я заметил. Что-то еще?

– А как же, – все тем же скучным скрипучим голосом согласился Анджей. – Вы, пане Ярославе, должны понимать: любого из этих обвинений хватит, чтобы отправить вас на шибеницу. Сразу, без суда и следствия, только по визе Синода. И я клянусь: если вы еще раз попадетесь у меня на дороге, я это сделаю. Кстати, это касается и пани Катажины, – в отношении ее, разумеется, мера пресечения будет другой. И никакой ваш Райгард мне не помешает. Вам понятно?

Он ощущал себя куском сосновой коры, который чья-то безразличная и твердая рука швырнула в поток, и вода несла его и несла, сужая к воронке омыта круги, а у него не было сил противиться течению. Можно было, конечно, попросить пощады, и тогда чужие пальцы выдернули бы его из воды, бросили на берег, в горячую летошнюю иглицу, оставили в покое... и он был бы избавлен от необходимости что-то решать, хотя – он по-прежнему боялся себе признаться в этом, – все давно решила за него чужая воля. И это было мучительно.

Утро застало Стаха в библиотеке. Он поднял от книг тяжелую голову и с удивлением обнаружил, что свеча давно догорела, залив воском страницы, а в покое светло.

Он не ожидал, что «Бархатный родословец Ургале и Лишикявы» преподнесет ему такой подарок. Стах чувствовал себя так, словно его прилюдно вываляли в грязи и лишили возможности достойно ответить на оскорбление.

Эту девку звали Гядре. Хотя, наверное, она не была девкой, иначе бы отец Стаха – Варнас князь Ургале – не дал бы ей своего имени. А он поступил именно так, в то время как был уже повенчан с матерью. Его не остановило ни таинство брака, ни клятва перед алтарем Спасителя, ни пекло по смерти. Варнаса и Гядре обручили по языческому обычаю, и хартия об этом была вложена в родословец.

Через год Гядре родила мужу сына. А через четыре года – еще одного. И Стах с горькой усмешкой поздравил себя: мало того, что он сын не своей матери, так у него еще и есть брат. Юрген. Сейчас ему пятнадцать лет.

Стах ни разу не слышал о нем.

Он чувствовал себя обманутым и обойденным. Всюду, куда ни ткнешь, обнаруживалось такое, о чем он и помыслить не мог.

– Ты не понимаешь. Ты никогда этого не поймешь.

Пан Вежис сидел, закрыв лицо руками, и качал головой. И это было так страшно, что Стах невольно отступил к порогу. Зря он пришел к опекуну со своими догадками. Зря он вообще полез в эти замшелые семейные легенды. Потому что после таких открытий непонятно, как жить дальше.

...Они все очень сильно просчитались там, в своем Райгарде. Потому что незаконная жена князя Ургале оказалась не способна выполнить все условия закона о наследии. Да, она родила Гивойтосу сына. Но – только одного. Через четыре года, вместо долгожданных близнецов, вновь родился только один ребенок.

Провожать за Черту было некого. Райгард задыхался в крови. Потом Варнаса не стало. Гядре пропала бесследно. Говорили, что ее видели уже после его смерти – она являлась путникам на безлюдных дорогах, босая, в изорванном плаще, со странным серым узором на лице и руках. Это могло означать только одно: для края наступили тяжкие времена.

– И нельзя сказать, что они кончились. Но ты – ты первенец. Ты еще можешь попробовать. Ты и эта девочка. Эгле. Или то, что ждет нас всех за Чертой, затопит этот мир без остатка.

Стах выскочил из покоя, так и не найдя в себе слов для ответа.

...О, как же Стах его ненавидел! За все сразу: за твердый нездеиный выговор, за синие узкие глаза, так похожие на его собственные, за уверенность в словах и движениях, за постоянное ощущение себя ничтожеством и глупцом. За непрошибаемое спокойствие, с которым он встречал нападки новоявленного старшего брата. За то, что этот чужак, пришелец, язычник чувствовал себя в родовом замке Ургале, как дома: рылся в библиотеке, хозяйничал на стайнях, подолгу лил воду в умывальне, гонял слуг, по-свойски, хотя и почтительно, обращался с Вежисом, и опекун, о ужас, платил ему неподдельной любовью. Так, что сразу было видно: он вырастил Юргена точно так же, как вырастил и его старшего брата, и одному богу известно, как у немолодого, в общем-то, дядьки получалось столько лет делить свое внимание и любовь между двумя детьми, живущими порознь, да еще и достаточно далеко друг от друга.

А еще он ненавидел его из-за Эгле.

Как-то сразу, едва только Юрген появился в Ургале, выяснилось, что они с Эгле давно и прочно знакомы и даже дружны. Хотя, подумав хорошенько, Стах едва ли назвал эти отношения дружбой. Но внятных поводов для беспокойства не было, не верить Эгле он не мог – они помолвлены, а она высокородная паненка, как он может ее подозревать хоть в чем-то.

Они встретились странно, неожиданно. Но – если бы тогда у Стаха достало времени подумать хоть немного, он бы понял, что так все и замышлялось.

Была середина октября, счастливые, наполненные прощальным теплом дни бабьего лета с их серебряными паутинками и криками отлетающих в вырих птиц. Стах отправился конно в Резну, одно из младших имений майората. Там был коллегиум и большая библиотека, гораздо больше домашнего собрания книг в Ургале, и Вежис, уехавший туда неделю назад, внезапно занемог и просил прислать за собой возок: ехать верхом опекуну было не под силу. Стах не удержался: ветер, неяркое последнее солнце и хлопанье птичьих крыльев на болотинах манили так, что не было сил сдержаться. Он выслал возок, а сам поехал конно, и ночевал в лугах у костров, и стрелял дичь на болотах, и иногда, очень редко, заезжал в деревни – маленькие, далеко отстоящие от тракта погосты, – чтобы купить хлеба и, если повезет, сыра и молока. И хотя до Резны было всего трое суток неспешной езды, в конце-концов это путешествие начинало казаться ему чем-то вроде сказки. Едет-едет королевич конный, золотая на челе его корона, каменное сердце в груди...

И, сидя ночью у костра или глядя поутру на ползущий по земле синий, как дым, туман, Стах думал о том, что никто, в сущности, не виноват в том, что с ним случилось такое.

Обвинять отца он не мог – это было бы кощунством. А Гядре – всего только женщина. И он не вправе судить их, и ненавидеть своего брата, потому что как же можно ненавидеть человека, о котором ты ничего, совсем ничего не знаешь, – только то, что он существует на свете.

Резна встретила его дождем и мокрым парком, и клетком воды в каменных водостоках. Оказалось, что это не маенток и не замок, а кляштор, большие похожий на крепость. Только на башнях не было крестов. А в надвратной броне полно стражников – крепких монахов, одетых в серо-синие хабиты, под которыми отчетливо проступали кольчуги.

Чувствуя себя не слишком уютно под нацеленными самострелами, Стах прокричал свое имя, и тогда к нему вышел пахолок – мальчишка, одетый, как и все здесь, в темный хабит. Решительно взял Стахова жеребца под уздцы и повел через подъемный мост, а потом через внутренний двор – широкий, замощенный крупным булыжником. И все то время, пока продолжался их путь, мальчишка трещал не переставая, как сумасшедшая сойка. Докладывал новости, из которых Стах не понимал ни единого слова. Кроме того, что пана каштеляна нынче нету, и придется ждать, но недолго, потому как на завтра назначен большой Капитул Райгарда, и не может быть, чтобы пан Вежис не приехал...

Стах онемел. Кто-то из них двоих ошибался. Быть не может, чтобы этот щенок говорил правду. Потому что если это так, то он будет вынужден поверить и во все остальное – в расстрелятый этот Райгард, в то, что все вокруг него в этом замешаны, и даже Эгле... что в Резне, вместо коллегиума, ужиное кубло мятежников и еретиков... а еще ему придется поверить в младшего брата, а заодно признать, что он, Стах князь Ургале – ублюдок, прижитый от язычницы.

Отведенный ему покой был мал, но не тесен. Окно выходило за стены, и за рыжими мокрыми кронами деревьев было видно море. На самом деле, моря Стаху разглядеть не удалось: в сплошном сером мареве с трудом угадывалась линия небокрая, но ветер, кроме запаха прели, приносил еще и горько-соленый вкус морской воды.

Кроме узкой кровати, застеленной полотниной, в покое были консоль для книг и колченогий стул, к которому и прикоснуться-то было страшно, не то что сесть. Однако на стуле аккуратной стопкой было сложено сухое белье, а у кафельной печки во всю западную стену покоя Стах нашел бересту для растопки и кресало.

Он лежал под одеялом, наслаждаясь теплом, и сухой рубашкой, и чистыми простынями – он давно не спал в постели, – и смотрел на стену. Она была похожа на укрытое снегом поле, и длинная трещина-овраг пересекала гладко выбеленное пространство. В изножье постели, как раз на уровне взгляда, висело странное, большое похожее на меч, распятие. Дерево было темным, почти черным от старости. Стах прищурился и оцепенел: подножие креста обвивал уж – отлитый из такого же черного от времени серебра и поэтому плохо различимый в сумерках.

Длинное ужиное тело кольцами обнимало крест, покоясь головой на перекладине, и сложенная из мелкой буриштыновой крошки корона венчала змеиную голову.

В задумчивости Стах не услышал, как отворилась дверь, но вскинулся тут же – на звук чужих шагов; зашарил под подушкой, куда спрятал нож.

– Кто здесь?

– Лежи, не трепыхайся. – Голос был резкий, повелительный, но еще не набравший полной силы.

Стах все-таки привстал в подушках и тут же замер, когда конец чужой даги уперся ему в плечо. Он увидел прямо перед собой холодный прищур синих глаз. Диких, разбойничьих... косая прядь выгоревших за лето волос упала поверх простого, сплетенного из кожаных ремешков, обруча. Разлет бровей и упрямый рот, смуглые обветренные скулы...

Юрген.

Стах ребром ладони отвел от себя братнино оружие, и увидел, как в глазах Юргена промелькнуло слабое любопытство.

Смерти отца Стах не помнил. Словно и не было ее, и уже потом, спустя годы, ему казалось, что отец просто уехал куда-то далеко, в такую даль, откуда почти невозможно вернуться. Потому и не навещает... так, во всяком случае, говорил Вежис. Говорил до тех пор, покада и объяснения, и ложь сделались не нужны. Но и после Стах не мог поверить в то, что отца убили. Не помнил и боялся этой памяти, потому что вместе с ней приходило и другое, непрошенное. Лицо незнакомой женщины, смутное через пелену времени, почти неразличимые черты и ясная зелень глаз, и руки, мягкие ласковые ладони и пальцы, как цветочные лепестки, и бугорки мозолей от прялки.

...Он наклонился над упавшим навзничь человеком и увидел в его глазах золотые верхушки деревьев и облака в синеве, облака, замедляющие ход. Медленно, неотвратно. Он отпрянул с криком и уткнулся в колени женщины. Кажется, он кричал «мама»...

А у Барбары, законной жены князя Ургале, глаза были серыми. Стах отчетливо помнил ее портрет в одной из картинных галерей майората. Усталые глаза смотрели из глубины холста с немым упреком, и Стаху всегда казалось, он чем-то провинился перед матерью. И еще – он никогда не помнил ее рядом с отцом.

Значит – все они правы? И Вежис, и Юрген, и даже Эгле – они не лгут ему, не морочат голову глупой сказкой?! Это все так и есть? Ужисное воинство, путь за Черту, в мир неживых, чтобы тем, кто из плоти и крови, жилось хоть немного легче?! И он должен стать частью этой сказки? Он, князь Ургале, добрый христианин, каждое воскресенье вкушающий причастие?

Стах думал об этом все время в нескончаемом бреду лихорадки, пытаясь найти хоть одно слабое звено в цепи представленных ему доказательств. Но все его доводы разбивались о взгляд Барбары – пани со старого портрета. Его мать не могла смотреть вот так, с таким отчуждением и укором.

Он закрывал глаза, и смоченное в ледяном уксусе полотенце ложилось на пылающий лоб. Это приносило недолгое облегчение, и в редкие минуты покоя и свободы от горячки и бреда Стаху чудилось, что он прав, только он один, и кроме этого ему больше ничего не нужно. Ничего, только упрямое осознание собственной правоты.

Если он не будет верить себе, он умрет. Потому что невозможно понять, как жить с той истиной, которую ему преподнесли родные люди. И дорогой братец в том числе. Стах почти ненавидел Юргена и разрывался от жалости к самому себе. Ему казалось, что он – пятилетний мальчик, заблудившийся в лесу. Кругом сосны, птичий пересвист и земляничные сполохи в мокрой траве, но за деревьями на взгорке дом, где его ждут, где двери распахнуты для него, а он медлит, стоя на раздорожье, не в силах выбрать нужную тропинку.

– Я думал, здесь тебя уж и похороним...

– В неосвященной земле? – Стах вымученно улыбнулся. Болезнь отняла у него все силы, даже на усмешку не осталось. – Среди язычников?

– Не юродствуй, – сказал брат серьезно, стараясь не показать, что уязвлен этой шуткой. – Какие, ради Христа, язычники.

– Не лги. Пожалуйста, не лги мне.

Юрген опустил глаза. Этот месяц не прошел для него даром, но Стаху ни к чему знать, сколько ночей он провел подле его постели. Пускай сердится, если ему так легче. Вежис прав: грешно разбрасываться родней, не каждый день у человека объявляются единокровные братья. Юргену забавно было вот так думать о Стахе, а если учесть, что между ними четыре года разницы... это потом, в зрелости, годы уже не имеют никакого значения... и несмотря

на то, что новоявленный братец был старше, Юргену он представлялся кем-то вроде слепого щенка, которого еще учить и учить, прощать ошибки, опекать и воспитывать, но только осторожно, чтобы щенку, мящему себя взрослым и опытным псом, казалось, будто бы он достиг мудрости своим собственным умом. Юрген плохо понимал, зачем следует так носиться со Стаховым самолюбием, гордостью и нобилитетом, но если бы кто-то другой точно так же обращался с ним самим... пожалуй, он был бы этому человеку безмерно благодарен.

А Стах... что же, он глупец, несмотря на все свои годы, он не ведает что творит и, в общем-то, заслуживает, чтобы его любили. Пускай даже и той странной любовью, только на которую Юрген был сейчас и способен.

Потому что Эгле назначена – не ему, и с этим ничего не возможно поделать.

Глава 5

Ликсна, Мядзининкай.

Конец мая, 1947 год.

Яр проснулся задолго до рассвета и еще некоторое время лежал, вглядываясь в серый сумрак. По растресканной штукатурке бродили смутные тени, они были похожи на облака и на птиц. Он вдруг подумал, что, может быть, видит в последний раз в жизни и эту комнату, и сумерки, клубящиеся под потолком. Может ведь и так сложиться, что после того, что он собирается сделать, он сюда уже не вернется. Ни сюда, ни куда-нибудь еще. Эта мысль не принесла ни тоски, ни ужаса. Он слишком хорошо знал изнанку и тайную подноготную смерти, чтобы ее бояться. Вот только Артема жалко, как они с теткой без него управятся...

И еще одна вещь тревожила, не давала покоя. Едва ли Кравиц хорошо понимал то, о чем говорил. Скорей всего, слышал где-нибудь, слово-то необычное, и звучит красиво, а в летописи кто же заглядывает. Да и нет ничего в них, так, сплошное суесловие, красивая сказка – и только. Свои и так знают, сколько кому положено, а посторонним ни к чему.

Но, так или иначе, со всем этим нужно было что-то делать. Взять хотя бы ту же Варвару. Кравиц, может, и не понимает, что творит, но если позволить ему продолжать в том же духе, они потеряют все, что с таким трудом и так недавно обрели.

Стараясь не шуметь, он выбрался на кухню, залил холодной водой из чайника пакетик растворимого кофе. Коварный напиток не желал растворяться, плавал комками в буровато-коричневой жиже, примерно так же вел себя и сахарин. Проклинаая шепотом тяготы послевоенного времени и собственную дурацкую гордость, мешающую ему хотя бы изредка доставать по знакомству в Крево приличные продукты, Яр выбрался на террасу.

Половодье почти совсем отступило, но в саду было еще мокро, в глубоких лужах плавали яблоневые лепестки, застревали меж упрямо проросших перьев лука и укропных веток. На нижней приступке крыльца пристроился с брезгливым выражением на рыжей морде приبلудный кошак. Лениво умывался, а при виде Яра молча убрался прочь. Яр посмотрел, как он перепрыгивает, будто заяц, с одной сухой лапинки на другую, и тоже принялся умываться.

Чистую и новую рубашку он приготовил загодя, еще с вечера, больше никаких обнов, правда, не нашлось, ну да как-нибудь, он, поди, не чужак, чтобы все обычаи блюсти в точности.

Он брился, выставляя вперед подбородок и по-птичьи выворачивая шею, пытаясь хоть так углядеть в осколок зеркала плоды своих трудов. Получалось плохо. Потом зеркало неожиданным образом повернулось к нему другим краем, в сумрачной пелене амальгамы он увидел свою щеку, густо намазанную мыльной пеной, а следом за этим ехидный Артемов голос спросил:

– Ты, никак, помирать собрался?

– С чего ты взял? – Яр даже испугался.

– Ну, а как, по-твоему, это выглядит? Подскочил ни свет ни заря, все новое да чистое на себя напялил, бреешься вот, а до начала работы еще три часа с лишним. Только не ври, что опять на свидание поспекаешь.

– Почему «не ври»?

– А не похоже!

Яр решил не уточнять, на что это, в самом деле, похоже Слава Пяркунасу, Артем вообще ни о чем не догадывается. Для него дядюшка – самый обыкновенный человек, рядовой преподаватель, что правда, излишне принципиальный, чтобы по-родственному натягивать оценки или заступаться перед школьным начальством. Ему и в голову не придет предположить, что Яр – один из маршалков Райгарда.

– Между прочим, панна Катажина тебе через меня записку передала. Я еще вчера отдать хотел, а ты смылся и свистал где-то до ночи.

– Ну и что?

– А то, что человек переживал.

– Ты переживал, что ли? Или она?

– Насчет нее не знаю, я ее больше потом не видел. Ну, с тех пор, как вы с паном Кравицем поговорили там, в коридоре. Поэтому переживал я. Ну и прочитал. Она же по делу тебе писала, разве нет?

– Ну, допустим. – Яр стряхнул с лезвия клочок пены и вытер щеку полотенцем.

– Ну и вот. В общем, на свидание к ней ты собираться никак не можешь, потому что она уехала. Еще вчера. Насовсем. Эй, ты что? Или ты за ней следом собрался?

В общем-то, так оно и было, если бы не некоторые особенности, о которых обычному человеку лучше не догадываться. Он-то знал, куда именно Кася уехала, только толку от этого чуть: ему-то путь туда пока что заказан. Неизвестно, надолго ли, но все же.

– В общем, Яр, – сказал Артем серьезно и без спросу отхлебнул кофе из дядюшкиной чашки. – Мне до синей лампы, куда именно ты собираешься. Но только ты учти: без меня ты и шагу не ступишь.

Угроза была вполне весомая, и в другое время Яр принял бы эти слова всерьез. Но не теперь. Потому что он и сам до конца не знал, как попасть туда, куда он собрался.

Было около шести утра, когда он вышел из дому, перед этим успев окончательно разругаться с племянником. Ну, в самом деле, как доказать пятнадцатилетнему лбу, считающему себя в сто раз умнее и отважнее любого взрослого, что в спутниках он не нуждается?

Яр не стал объяснять Артему ничего. Он не произнес ни единого лишнего слова. Но как-то так поглядел – и племянник сник, и остался сидеть на террасе, растерянно мешая сахар в чашке с давно остывшим чаем.

Он не испытал ни тени угрызений совести. В самом деле, Райгард – не игрушки для самоуверенных подростков. А то, что он собирается сделать, и в Райгарде не всякому под силу и не любому дозволено.

Рассветное солнце пятнами лежало на мокрых после ночного ливня сосновых стволах. Птицы молчали – ни единого свиста, ни шелканья, – тишина, нарушаемая только шелестом его шагов.

Обметанные ядовитой бахромой крапивные верхушки, яркие смолки, похожие на бледные звезды россыпи камнеломки в пышном покрове мха, повилика тянет сквозь тропу яркие плети, захлестывает пеной замшелые валуны и коряги.

Воздух пах хвоей, малиновыми листьями, влажной землей. С веток то и дело срывались тяжелые капли, сапоги и рубашка мгновенно промокли. Он шел по лесу, не разбирая дороги, не придерживаясь особенно никакого направления – но деревья расступались именно там, где ему было нужно, и тропа сворачивала туда, куда он хотел. Иногда боковым зрением он отмечал скользящие меж стволами неясные тени, которые посторонний человек принял бы за игру света и полутьмы в лесной чаще, но Яр знал, *кто* именно его провожает. И надеялся, что эта непрошенная свита, эти гости, пришедшие из-за грани, помогут ему. Сделают дорогу короче, а ожидание, предстоящее у Черты, не таким изматывающим.

Скоро за деревьями посветлело, и он оказался на окраине леса. Впереди, сколько хватало глаз, лежал луг: бескрайнее травяное море с редкими островками высоких уже метелок иван-чая. Ветер волнами ходил по зеленовато-сизым верхушкам, разнося сладкий, влажный аромат – Яр знал, что так пахнет только близкое лето. Перед глазами еще качался лесной смарагдово-золотой полумрак, тяжело толкалась в ушах после долгой ходьбы кровь. Утопанный

неширокий проселок убегал вперед между травяных стен, но рядом, уводя вправо, лежала еще одна дорога, – шла прямо по верхушкам трав, похожая на отражение первой. Будто тень легла на луговое марево.

Ни единой секунды не сомневаясь, Яр ступил на эту призрачную дорогу.

Он знал, что так и должно быть, хотя сам, невзирая на все свои чины и регалии, никогда не сталкивался с подобным. Просто не было нужды. Времена были спокойными, и если ему и выпадала необходимость встретиться с кем-нибудь с той стороны Райгарда, они приходили к нему сами. Да, не сразу, и о таких встречах, если они и случались по его настоянию, приходилось просить, и ждать, и на это уходило время. Сам Яр Черты не пересекал никогда, и о том, как это можно сделать, читал только в старых орденских хрониках. А они больше походили на сказки, чем на то, что и вправду можно осуществить. Шагнуть из мира живых в мир неживого. Не теряя собственной жизни. И вернуться потом обратно. Или – не вернуться?

Но если выбора человеку не оставлено, и дорожить больше нечем... Чего, в таком разе, он может бояться? Навсегда остаться за Чертой? Это было бы слишком щедрым подарком.

Призрачная тропа быстро исчезла, превратилась в такую же затравелую лесную стежку, как и та, по которой Яр начинал свой путь. И хотя он прошел по ней совсем недолго, скоро он оказался в глухой чаще. Вековые ели сходились над головой огромными почти черными лапами, высоченные мачтовые сосны пронзали листву медными стрелами. Тропа то спускалась в распадки, то поднималась на пригорки, в зарослях глухо позванивал ручей. Скоро тропа привела его к дровяным мосткам, перекинутым над нешироким, в несколько шагов, потоком.

На мостках, отложив в сторону сучковатый посох, сидел человек. Старик в белых одеждах. Яр молча опустился рядом. Он и представить не мог, что ждать будут его, и что гость, пришедший с той стороны, окажется таким.

Некоторое время они так и сидели, почти соприкасаясь плечами и не говоря друг другу ни слова. Солнце падало сквозь зелено-черную засень, высвечивая на дне ручья каждую песчинку, зажигая праздничным ярким светом круглые листья кувшинок и длинные пряди речной травы. Синие стрекозы неподвижно висели над бегущими струями.

– Катажина вернулась, – наконец сказал Гивойтос. – Вернулась, хоть мы и не ждали.

– Знаю.

– И зачем?

– Затем, что этот, с позволения пана, мерзавец не оставил ей другого выхода. Или, может, пан хотел, чтобы ее заставили сделать это силой? И так, как это понимают высшие чины Инквизиции Шеневальда? Я слишком... люблю ее, чтобы позволить такое.

– Если бы ты и впрямь любил ее так, как утверждаешь, ты послушал бы меня еще десять лет назад. И отпустил. Но ты ведь сам себе хозяин, кому тебя учить. Я тебе не указ, а с *этой* стороны никого не осталось, старики одни, а кто в разуме, тех ты разве слушать станешь.. Да и вообще, раньше небо опрокинется на землю, чем живые поймут, каково быть не-живыми. Однако ж, я полагаю, пан маршалок позвал меня не затем, чтоб выслушивать упреки.

Яр долго молчал, прежде чем ответить. Все слова, загодя подобранные и тщательно пригнанные одно к другому, как плашки дубового паркета, оказались вдруг никуда не годными. Под взглядом этих синих пронзительных глаз он ощущал себя мальчишкой, самонадеянным дураком – наверное, такие же чувства испытывает его племянник, когда Яру приходит в голову его распекать. Между ним и Гивойтосом – без малого два века, уже от одной только этой мысли можно с ума сойти, а если еще учесть разницу в положении в Райгарде и то, откуда каждый из них пришел...

– Эгле, – наконец сказал Яр.

– Ты хотел сказать, Варвара?

– Я сказал то, что сказал. Хотя да, думаем мы об одном человеке. Только если вы и впрямь дорожите ею, вы заберете ее отсюда.

– За Черту? Как Катажину?

– Вы заберете ее, – не обращая внимания на насмешку, упрямо повторил Яр. – Заберете, не дожидаясь, пока это сделает за вас эта шеневальдская сволочь. А еще лучше, поищите кого-нибудь другого на ее место.

– Поздно уже... искать. И вообще что-нибудь делать. Поздно. Все уже определено. Теперь мы все можем только ждать.

– Вы дождетесь, – сказал Яр, чувствуя, как все внутри замирает от тяжелого медленного бешенства. – Дождетесь, клянусь Пяркунасом. Как бы не пожалеть после.

Легкая улыбка была ему ответом. Черные еловые лапы качались в прозрачных старческих глазах. О чем может думать человек, проживший на свете столько лет, ведающий начало и причину всего сущего, для которого исток жизни и солнечный луч равновелики, а все они – не больше, чем песчинки в этом вот самом лесном ручье?

– Тебя послушать, – сказал Гивойтос, по-молодому пожимая плечами и все так же продолжая улыбаться. – Тебя послушать, так я должен свернуть пану Кравицу шею, а девочку запрятать в какой-нибудь глухой застенок. И так сидеть, всякую минуту ожидая, пока эту прозрачному равновесию придет конец. Или когда ты примиришься с существующим порядком вещей. Ты когда-нибудь пробовал идти против течения? И потом, как ты, маршалок Райгарда, себе представляешь это: убить князя Гонитвы?

– Что? – переспросил Яр, потому что поверить в то, что он услышал сейчас, было совершенно не возможно. – Что вы сказали?

Поплава за Кревкой были в нежно-зеленой дымке первой листвы, и далеко по воде ветер нес горьковатый запах молодой зелени и доцветающих вербовых почек. И отражение облаков и по-весеннему отрешенных деревьев сплывало по реке вниз вместе с течением. Отсюда, с моста, хорошо смотрелись крыши Антакальниса и умытое золото куполов. Кресты горели ярко и радостно, словно заранее предвкушая поздний в этом году праздник Воскресения Господня. Стах видел это сияние, когда поднимал голову, и ему слепило глаза. Он щурился и бесильно откидывался затылком на жесткое подголовье. Умытый, радостный Крево был – как насмешка.

Телега скатилась с моста и поехала тише, дорога здесь была раскатанная. Тощие, еще не оправившиеся от зимней бескормицы лошадки шли медленно, сберегая силы для близкого подъема, и Стах отдыхал. Он лежал на телеге, укрытый плащами и рваной овчиной, не в силах даже пошевелиться, так болело в нем все. Каждая жилка, все, вплоть до лица, которое наискось, от правой брови через переносицу и до левого угла рта было рассечено глубокой царапиной. Правда, Вежис обещал, что когда она затянется, шрама не будет, но Стаху в это плохо верилось. С другой стороны, его раны – не самое страшное, боль от них можно вытерпеть, а сами раны залечить, но как снести то, чему на людском языке имя – поражение, и что на самом деле – только отчаяние и стыд. Перед самим собой. Такой, который в прежние времена вынуждал человека вскрыть себе вены. Теперь-то все на свете переменялось, теперь если уж и сводить счеты с жизнью, так от позора, который стал всеобщим достоянием; с самим собой же всегда можно договориться. Но он – он так не умел.

Единственный выход, который он может себе позволить – это собраться с силами и настоять на своем. Или с обрыва в Кревку головой. Иначе никак. Он думал об этом с упорством безумца, и за те дни, что раненого князя Ургале везли из Мядзиол в Крево, консульство из долга чести превратилось для Стаха в самоцель, средство сохранения гордости и родовой чести.

И еще он очень хорошо понимал, что только собрав под своей рукой всю Лишкяву, как это было когда-то еще при его прадеде, он сможет защититься от власти Райгарда. Может быть, даже противостоять ему – и уничтожить этих язычников к вящей славе Господней.

Все это было и умно, и глупо. Глупо оттого, что воевать ему теперь было нечем и некем, помощи откуда-нибудь тоже ждать не приходилось. И он ни с кем не мог посоветоваться: Вежис ждал его в Крево, а из всех прочих, кому бы Стах доверял настолько, в обозе был только Юрген. Но, вздумай Стах рассказать ему о том, что замыслил, братец непременно бы поднял его на смех и камня на камне не оставил бы от его затеи. По мнению Юргена, воевать с Райгардом было глупо, бесполезно и, главное, крайне опасно. И он не уставал твердить, что лучший для Стаха выход как-то сладить с этой махиной – это ее возглавить.

Разумеется, Стах отказался. Решил, что справится и своими силами. Начиная войну за свое королевство, он даже не предполагал, что поражение может наступить так скоро и будет таким страшным.

И вот он трясется на телеге, укрытый рваньем, как последний смерд, полностью отданный на милость своих победителей, разрешивших ему беспрепятственный въезд в Крево. Сейм оставил ему княжеский титул и майорат при условии, что он никогда больше не посмеет претендовать на большее. Иначе – секвестр и баниция.

Он подчинился. Это было легко, потому что сил на сопротивление не осталось. Их хватило только на то, чтобы кивнуть головой в знак согласия. Хартий Стах не подписывал – пальцы на правой руке не гнулись и были как деревянные, он почти их не ощущал – и герольды только отпечатывали на воске герб Ургале – рысь на простом летувском щите.

Лошадки одолели подъем на Антакальнис, и телегу затрясло на «кошачьих лбах» переулков. Повернув голову, Стах глядел на проплывающие мимо дома, на греющихся на солнце котов, отмечал краем глаза набухшие на яблонях почки. Ему казалось, он вступает в странный, похожий на сказку мир.

В садах горланили и дрались воробьи: делили летошнее майно и на новый лад перекраивали семьи. Короткие и шумные драки вспыхивали и завершались одинаково мгновенно. Стах улыбнулся рассеченной губой и закрыл глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.